



Тем, что эта книга дошла до Вас, мы обязаны в первую очередь библиотекарям, которые долгие годы бережно хранили её. Сотрудники Google оцифровали её в рамках проекта, цель которого – сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Эта книга находится в общественном достоянии. В общих чертах, юридически, книга передаётся в общественное достояние, когда истекает срок действия имущественных авторских прав на неё, а также если правообладатель сам передал её в общественное достояние или не заявил на неё авторских прав. Такие книги – это ключ к прошлому, к сокровищам нашей истории и культуры, и к знаниям, которые зачастую нигде больше не найдёшь.

В этой цифровой копии мы оставили без изменений все рукописные пометки, которые были в оригинальном издании. Пускай они будут напоминанием о всех тех руках, через которые прошла эта книга – автора, издателя, библиотекаря и предыдущих читателей – чтобы наконец попасть в Ваши.

Правила пользования

Мы гордимся нашим сотрудничеством с библиотеками, в рамках которого мы оцифровываем книги в общественном достоянии и делаем их доступными для всех. Эти книги принадлежат всему человечеству, а мы – лишь их хранители. Тем не менее, оцифровка книг и поддержка этого проекта стоят немало, и поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые меры, чтобы предотвратить коммерческое использование этих книг. Одна из них – это технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас:

- **Не использовать файлы в коммерческих целях.** Мы разработали программу Поиска по книгам Google для всех пользователей, поэтому, пожалуйста, используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- **Не отправлять автоматические запросы.** Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого рода. Если Вам требуется доступ к большим объёмам текстов для исследований в области машинного перевода, оптического распознавания текста, или в других похожих целях, свяжитесь с нами. Для этих целей мы настоятельно рекомендуем использовать исключительно материалы в общественном достоянии.
- **Не удалять логотипы и другие атрибуты Google из файлов.** Изображения в каждом файле помечены логотипами Google для того, чтобы рассказать читателям о нашем проекте и помочь им найти дополнительные материалы. Не удаляйте их.
- **Соблюдать законы Вашей и других стран.** В конечном итоге, именно Вы несёте полную ответственность за Ваши действия – поэтому, пожалуйста, убедитесь, что Вы не нарушаете соответствующие законы Вашей или других стран. Имейте в виду, что даже если книга более не находится под защитой авторских прав в США, то это ещё совсем не значит, что её можно распространять в других странах. К сожалению, законодательство в сфере интеллектуальной собственности очень разнообразно, и не существует универсального способа определить, как разрешено использовать книгу в конкретной стране. Не рассчитывайте на то, что если книга появилась в поиске по книгам Google, то её можно использовать где и как угодно. Наказание за нарушение авторских прав может оказаться очень серьёзным.

О программе

Наша миссия – организовать информацию во всём мире и сделать её доступной и полезной для всех. Поиск по книгам Google помогает пользователям найти книги со всего света, а авторам и издателям – новых читателей. Чтобы произвести поиск по этой книге в полнотекстовом режиме, откройте страницу <http://books.google.com>.

DK 32
.I15

THE
UNIVERSITY
OF CHICAGO
LIBRARY

8551/1966,

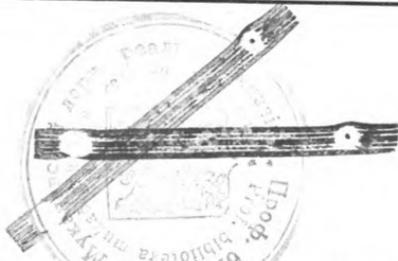
a mielt idők jellemei

48

52

Debreceni Egyetemi Könyvtár
Átengedett tulajdon

Проф. К. Ярошъ.



ХАРАКТЕРЫ БЫЛОГО ВРЕМЕНИ.

— 3255. *О. 182.*

Протопопъ Аввакумъ.

Казакъ XVI вѣка.

Русскій ученый XVIII вѣка.



ХАРЬКОВЪ.

Типографія Адольфа Дарре, Московская ул., № 19.

1898.

DK 32
I 15

Дозволено цензурою, Москва, 17 Ноября 1897 года.



SLA

Протопопъ Аввакумъ.

I.

Одинъ изъ общепризнанныхъ принциповъ педагогii требуетъ, чтобы воспитатель постоянно принималъ во вниманіе личныя, индивидуальныя особенности воспитываемаго. Правильность и важность этого принципа очевидны. Результатъ педагогическихъ воздѣйствій и мѣръ, безъ сомнѣнія, обуславливается въ значительной степени соотвѣтствіемъ этихъ мѣръ со свойствами лицъ, къ которымъ онѣ прилагаются. Бываютъ дѣти и юноши съ очень инертнымъ, рыхлымъ душевнымъ складомъ. Ихъ вялый взоръ скользитъ по всему равнодушно; ихъ мысль лишена энергии и оригинальности, а чувство слабо и безцвѣтно. Имъ—«все равно». Никакое пріобрѣтеніе не возбуждаетъ въ нихъ радости, и никакая потеря не вызываетъ въ нихъ страданія. Всѣ дороги имъ безразличны. Ихъ душа напоминаетъ безжизненно висящій парусъ, который можетъ придти въ движеніе только подъ напоромъ вѣтра, съ какой бы то ни было стороны. Само собою разумѣется, что педагогъ, имѣя дѣло съ такими питомцами, можетъ двигать ихъ толчками на надлежащій путь, можетъ втискивать эту рыхлую психическую массу въ ту или другую желательную форму добродобія. Но примѣнима ли такая метода дѣйствія всегда, ко всѣмъ питомцамъ? Конечно, нѣтъ.

Бываютъ дѣти и юноши, которые также не обнаруживаютъ строптивости, горячности и пыла. Но въ нихъ, подъ покровомъ кажущейся пассивности, таится способ-

ность настойчиво думать свою думу, крѣпко привязываться сердцемъ къ излюбленному предмету, упорно вести свою линію. Что бы было, еслибъ воспитатель, принявъ терпѣніе за безличность, примѣнилъ къ этимъ характеристамъ систему толчковъ и тисканья? Ничего хорошаго. Въ жизни питомцевъ описываемаго типа мѣропріятія заблуждающагося педагога легли бы мрачной полосой напраснаго страданія, потеряннаго времени, досадной и печальной задержки въ ходѣ внутренней прогрессивной работы. Очень можетъ быть, что педагогъ не встрѣтилъ бы протестующаго взрыва: сильная натура его питомцевъ вынесла бы на своихъ плечахъ тяжесть чужихъ ошибокъ и переждала бы время педагогическаго невѣдѣнія. Такъ было бы, по всей вѣроятности, хотя никто не можетъ ручаться за это: терпѣніе тогда только не имѣетъ границъ, когда оно ничего не стоитъ терпящему, другими словами, когда терпящій есть какъ бы нравственный трупъ.

Не приводя дальнѣйшихъ доказательствъ вѣрности упомянутаго принципа, мы задаемся вопросомъ: можно ли его считать принадлежностью только воспитательнаго искусства? Никоемъ образомъ нельзя. Онъ составляетъ первую заповѣдь не однихъ педагоговъ, но и всѣхъ, на комъ лежитъ священное дѣло руководства людьми. Дѣйствию этого принципа подлежатъ широкія области нравственной, юридической и политической жизни. Съ давнихъ поръ наука государствовѣдѣнія говоритъ и повторяетъ, что «законы и политика страны должны соответствовать народному духу».

Но что такое «народный духъ». Многимъ это слово кажется крайне смутнымъ; однакоже, въ немъ можно открыть болѣе или менѣе ясный смыслъ. Въ каждомъ отдѣльномъ человѣкѣ есть нѣкоторое единство духовнаго существа, нѣкоторая гармонія, въ которой сливаются во-едино разнообразныя психическія свойства этого человека. Это единство, эта опредѣленная фигура уклада

всѣхъ побужденій лица всѣхъ его симпатій и антипатій, стремленій, идей и идеаловъ,—составляетъ то, что называется «духомъ» или «духовной фізіономіей» лица. Зная эту фізіономію человѣка и видя какой-нибудь его поступокъ, или слыша какое-либо его мнѣніе, мы часто говоримъ: «да, это дѣйствіе въ его духъ», или: «нѣтъ, эта мысль не ладитъ съ его нравственною личностію».

Коллективное лицо или народность также имѣетъ особенный внутренній складъ или духъ, который есть своеобразное психическое единство, гдѣ скрывается способность націи думать, чувствовать и дѣйствовать на собственный свой «ладъ». Народный духъ есть внутренняя лабораторія націи, гдѣ рождаются и крѣпнута ея оригинальныя воззрѣнія. Здѣсь совершается тайна народнаго творчества, которое объективируетъ скрытыя національныя свойства, обнаруживаетъ ихъ, одѣваетъ плотью и кровью, обращаетъ въ музыкальные аккорды, въ пластическіе образы, въ моральныя идеи, въ правовыя и политическіе принципы. Подъ невидимымъ дирижерскимъ жезломъ психической родственности, всѣ сограждане участвуютъ въ работѣ этого творчества. На поверхностный взглядъ ихъ жизнь представляется самой головокружительной пестротой: одинъ торгуетъ, другой занимается ремесломъ, третій пишетъ книги и т. д. Всякій изъ нихъ, кажется, вполне погруженъ въ свое отдѣльное дѣло, но это только кажется. Въ сущности, всѣ они, помимо своей специальной работы, дѣлаютъ одно общее великое дѣло: всѣ они каждымъ своимъ шагомъ и движеніемъ создаютъ и осуществляютъ общенародный образъ желательной, лучшей идеальной жизни. Всякая мысль и всякое дѣйствіе каждаго изъ согражданъ падаетъ въ горнило народнаго творчества, гдѣ отливаются общіе жизненные идеалы и гдѣ выковываются соотвѣтственные этимъ идеаламъ общія жизненные правила. Ничто не пропадаетъ здѣсь безслѣдно, все оказываетъ тутъ такое или иное вліяніе. Конечно, богато одаренныя лич-

ности въ этомъ трудѣ идутъ впереди, за ними движется остальная народная толпа.

Такая работа весьма часто совершается бессознательно. Народъ можетъ прожить столѣтія, можетъ выработать оригинальный складъ жизни, можетъ проявить фактически большую силу, и въ то же время онъ можетъ не знать основныхъ чертъ своего духа, своей политической національной сущности. Россія прожила не безславно тысячелѣтіе и, тѣмъ не менѣе, одинъ изъ ея талантливыхъ сыновъ назвалъ ее «загадочнымъ сфинксомъ». Чѣмъ объяснить такое странное явленіе? Дѣло именно въ томъ, что народъ можетъ долго жить въ состояніи бессознательнаго творчества, не переступая въ фазисъ самоанализа, подведенія итоговъ предшествующей работы, не вступая въ фазисъ познанія самого себя и отчетливаго различенія основныхъ чертъ своей духовной фізіономіи.

Однакоже самосознаніе крайне важно. Благо «сфинкса» настоятельно требуетъ появленія Эдипа, который бы разгадалъ загадку, снялъ завѣсу съ тайнъ внутренней народной жизни, произвелъ анализъ многовѣковой народной работы и указалъ бы во всеобщее свѣдѣніе: «вотъ въ чемъ заключаются коренныя свойства народа, вотъ главные элементы его идеала, вотъ руководящіе стимулы и принципы его жизни». Только эти указанія дали бы возможность каждому гражданину выйти изъ предѣловъ инстинктивнаго существованія; только такія указанія снабдили бы руководителей народной жизни способностью дѣйствовать сознательно и правильно, а не блуждать ощупью, впадая въ досадныя ошибки и въ печальныя неправды. Желательный и пламенно призываемый Эдипъ есть критическій, или, лучше, рефлектирующий элементъ народнаго мышленія. Коллективное національное лицо должно стать въ положеніе наблюдателя, изслѣдователя и критика самого себя. Оно должно искать самого себя въ продуктахъ своего творчества,

въ своихъ массовыхъ движеніяхъ и въ своихъ яркихъ, чѣмъ-либо выдающихся отдѣльныхъ личностяхъ.

Западная Европа уже съ давнихъ поръ выступила на этотъ путь. Такъ, напр., если германскія племена, занявъ новыя мѣста въ Европѣ, долгое время жили инстинктивно, то позднѣйшая нѣмецкая наука подвергла изслѣдованію протекшія столѣтія, и всею стало ясно какія національныя свойства обнаруживались и какіе національные принципы вырабатывались въ той жизни, которая, казалось бы, лишена была всякаго плана и цѣликомъ наполнена войной, усобицами, смутой и безчинствомъ. Подобный же свѣтъ добытъ анализомъ, который Западная Европа направляла и направляетъ на выдающіяся личности своей исторіи и жизни. Перикль, Карлъ Великій, Лютеръ, Наполеонъ, Гёте—все это не загадочные сфинксы, не призраки неопредѣленныхъ очертаній, а воскресенные, живые свидѣтели былаго, краснорѣчивые истолкователи народныхъ свойствъ и стремленій. Россіи также пора заняться самоанализомъ, ибо въ этомъ единственное средство разстаться съ царствомъ инстинкта и войти въ свѣтлую область сознательности.

Отъ изложенныхъ общихъ, отвлеченныхъ соображеній, мы перейдемъ къ скромному, конкретному предмету нашей статьи, мы попытаемся очертить одно изъ яркихъ лицъ XVII вѣка, личность протопопа Аввакума. Знаменитый протопопъ извѣстенъ, главнымъ образомъ, въ качествѣ одного изъ первыхъ расколоучителей. Но эта сторона дѣятельности Аввакума уже нашла себѣ достаточно солидныхъ и компетентныхъ судей. Наша цѣль будетъ заключаться въ томъ, чтобы написать портретъ не Аввакума-раскольника, съ его заблужденіями, а Аввакума-русскаго человѣка, съ присущими ему характеристическими свойствами. Вооружившись искреннимъ намѣреніемъ избѣгать всякихъ увлеченій похвалы или порицанія, мы приступаемъ къ разсказу.

II.

Аввакумъ былъ родомъ изъ Нижегородской области, которая дала нѣсколько весьма типичныхъ личностей, каковы Мининъ, Никонъ и др. Дѣтство, проведенное Аввакумомъ въ семействѣ отца, деревенскаго священника, не было ознаменовано ничѣмъ замѣчательнымъ. Мы не имѣемъ свѣдѣній ни о какихъ особенныхъ событіяхъ, которыя бы могли отразиться на судьбѣ ребенка; мы не видимъ у его колыбели ни благословляющихъ, ни проклинающихъ фей. Отецъ его былъ самымъ зауряднымъ человѣкомъ своего времени, и извѣстіе о томъ, что онъ «прилежаше питія хмѣльнаго», не сообщаетъ ему, конечно, оригинальности. Такъ что вліяніе на Аввакума съ этой стороны могло бы лишь напитать его элементами сѣрой обыденности, суетой маленькихъ нуждъ и интересовъ текущаго дня. Но семейная атмосфера нѣсколько оживлялась вліяніемъ матери, хотя и она не была какою-нибудь исключительною и необыкновенною личностью. Въ средѣ русскаго народа отнюдь не рѣдкость религіозная женщина, которой благочестіе не замыкается въ форму обрядовъ, не уходитъ въ туманную высь мистицизма, а разливается во всемъ жизненномъ обиходѣ, проникая всѣ его мелочи облагораживающею, приподымающею и одухотворяющею струею. Что бы ни дѣлала такая женщина, какъ бы глубоко ни уходила она въ заботы скромнаго существованія, все же постоянно чувствуется, что ея душа не размѣнялась безъ остатка на житейскія детали и не потеряла способности, среди будничнаго чада домашняго угла, ощущать надъ собою свѣжую и свѣтлую высоту небесъ. Такова была мать Аввакума, сообщившая ему извѣстный способъ отношенія къ вещамъ, извѣстную точку отправленія для чувствованія и мышленія.

Есть дѣти, которыя, такъ сказать, чувствуютъ себя вѣщью между окружающими вещами. Всѣ предметы ин-

тересуютъ ихъ лишь своими конкретными очертаніями, гранями, формой, окраской. Но есть дѣти, способныя выходить изъ сферы непосредственнаго соприкосновенія съ вещами, изъ сферы реалистическаго воспріятія однихъ только конкретныхъ впечатлѣній. Воздѣйствіе какого-либо предмета можетъ возбуждать въ этихъ дѣтяхъ длинный рядъ воспоминаній, соображеній, грезъ и душевныхъ состояній, уходящихъ далеко отъ узкихъ очертаний вещи, послужившей первымъ толчкомъ душевной работѣ. Происходящее здѣсь напоминаетъ то, что наблюдается въ высокихъ зданіяхъ: звукъ не слышится въ нихъ отрывисто, какъ подъ низкимъ потолкомъ, а идетъ волнами вверхъ и будить въ высокихъ сводахъ долго не смолкающее эхо. Ребенокъ-Аввакумъ принадлежалъ несомнѣнно къ этому второму типу. Какъ-то разъ въ сосѣднемъ дворѣ пало домашнее животное. На большинство дѣтей этотъ фактъ произвелъ бы дѣйствіе картиной судорогъ животнаго, окружающей суеты и проч. Этими впечатлѣніями, съ ближайшими соответственными ощущеніями, и кончилось бы все дѣло. Но Аввакуму это событіе стоило большихъ душевныхъ волненій; оно стоило ему бессонной ночи, проведенной въ слезахъ и молитвѣ. Почему такъ? А потому, что онъ сьумѣлъ увидѣть въ судорогахъ умирающаго животнаго борьбу живаго существа за жизнь, сьумѣлъ почувствовать въ неподвижномъ оконченіи трупа великую тайну смерти.

Въ общеніи съ матерью, Аввакумъ выросъ и избралъ себѣ жену. Затѣмъ онъ рукоположенъ былъ въ діаконы, наконецъ, въ священники. И вотъ мы видимъ его въ роли молодаго пастыря. Нужно припомнить жизненные условія тѣхъ временъ, чтобы понять всю трудность этой роли.

Русское общество XVII столѣтія еще не имѣло вполне окрѣпшаго уклада. Жизнь еще не давала зрѣлица законченнаго творенія; нравственные, социальныя и политическія стихіи еще не были надлежаще раздѣ-

лены и введены въ должныя предѣлы. Напротивъ, своими могучими столкновениями и переливами, онѣ еще напоминали времена первобытнаго хаоса. Сильные міра не привыкли сдерживать себя. Они давали просторъ своимъ страстямъ и, встрѣчая препятствія, вскипали необузданнымъ гнѣвомъ.

Это не была, разумѣется, какая-нибудь сплошная, непочатая дикость, такъ какъ грабители и насильники уже прекрасно знали, что ихъ подвиги—нѣчто не должное, грѣховное. Очень часто, очнувшись отъ угара безчинствъ, они приносили искреннія и горячія покаянія. Они уже были, слѣдовательно, на пути къ благообразію жизни, но темпераменты все еще оставались буйными, и непокорная плоть все еще вырывалась изъ дисциплинирующихъ тисковъ, которые накладывалъ на нее духъ, просвѣщенный христіанской моралью.... То же было замѣтно и въ массахъ сѣраго люда, которому также ничего не стоило, собравшись толпою въ тысячу душъ мужиковъ и бабъ, раздосадованныхъ усовѣщиваніями священника, вытащить его на улицу, бить его батожемъ, топтать и издѣваться, пока не пріѣдетъ воевода и не противопоставить ихъ расходившейся ярости вооруженную силу.

Таковы въ сжатомъ изображеніи условія, среди которыхъ приходилось священствовать Аввакуму и, надо отдать ему справедливость, онъ не проявилъ малодушія предъ лицомъ этихъ суровыхъ условій. Его пастырская дѣятельность поражаетъ неутомимой настойчивостью. Онъ въ полномъ правѣ былъ сказать, вспоминая позднѣе объ этомъ времени, что дѣйствовалъ «не почивая, прилежа въ церквахъ и въ домахъ, и на распутыяхъ, по городамъ и селамъ». Въ этой ревности не было компромиссовъ и такъ называемой политичности; знатность и сила лицъ не принимались Аввакумомъ въ соображеніе. Замѣчая проявленія распущенности въ быту глухой деревни, онъ раздражался суровымъ словомъ укора и порица-

ніа; видя, что воевода былъ неправъ, Аввакумъ смѣло заявлялъ протестъ.

Однакоже, всматриваясь въ эту ревность, нельзя не найти въ ней излишняго ригоризма. Аввакумъ былъ склоненъ мѣрить жизнь (употребимъ выраженіе Аристотеля) желѣзной линейкой, а не мягкой, оловянной, ледбійской, которая изгибается по индивидуальному разнообразію явленій жизни. Иногда въ дѣйствіяхъ его выступали неумѣстныя, истинно эпическія черты, и священникъ въ эти моменты преображался въ богатыря. Такъ, однажды, увидя скомороховъ съ медвѣдями и найдя зрѣлище неприличнымъ, Аввакумъ устремился на нихъ, «одинъ на многихъ», изломалъ бубны и отнял двухъ медвѣдей, изъ которыхъ одного ушибъ, а другаго отпустилъ въ поле... Но, оцѣнивая по достоинству прямолинейную строгость пастыря къ паствѣ, не надо терять изъ виду, что онъ не менѣе строго относился и къ себѣ. Здѣсь также онъ не зналъ уступокъ и сдѣлокъ. Въ его душѣ постоянно бодрствовалъ внутренній стражъ, который и принималъ свои мѣры при каждомъ приступѣ шевелящейся плоти, при всякомъ проявленіи лѣности къ молитвѣ или ропота на судьбу.

Лицу, занимающемуся общественной дѣятельностью, приходится сталкиваться съ разными людьми. Разъ къ Аввакуму явилась на исповѣдь молодая грѣшница. Съ искренними слезами, она начала разсказъ о своихъ проступкахъ и увлеченіяхъ. Конечно, это былъ скомканный перечень именъ, случаевъ, сценъ; но изъ такихъ отдѣльныхъ чертъ складывались соблазнительныя картины. Сквозь аромать сердечнаго сокрушенія пробивалось тлетворное дыханіе порока. Каявшаяся женщина, разумѣется, не замѣчала этого, но Аввакумъ былъ молодъ и—въ священникѣ проснулся мужчина. Въ глубокомъ ужасѣ предъ собственной слабостью, онъ поспѣшилъ поставить ей предѣлъ. Вспоминая позднѣе объ этомъ случаѣ, Аввакумъ писалъ: «Азь треокаянный и врачъ и самъ разболѣлся

внутри жгомый огнемъ, и горько мнѣ бысть въ тотъ часъ: зажегъ три свѣщи и прилѣпилъ къ налою и возложилъ руку правую на пламя и держалъ дондеже во мнѣ угасло злое разженіе, и отпусти дѣвицу, сложа ризы. помолился, пошолъ въ домъ свой зѣло скорбенъ». Эта «горечь» разочарованія въ себѣ, эта «скорбь» о проявленной слабости, эта иронія «врача» относительно его собственнаго «здоровья», — все это не мимолетныя слова и фразы, а рѣзкіе черты характера.

Весьма понятно, что жизнь Аввакума, какъ и жизнь всякаго «безпокойнаго человѣка», была преисполнена разныхъ, иногда очень тяжкихъ, физическихъ и нравственныхъ страданій. Претергивая гоненія и переходя съ мѣста на мѣсто, Аввакумъ придвинулся, наконецъ, къ столицѣ и быстро сталъ здѣсь своимъ человѣкомъ. Онъ подружился съ настоятелемъ Казанскаго собора, Иваномъ Нероновымъ, и приобрѣлъ въ городѣ большую извѣстность между людьми всѣхъ сословій. Патріархъ Іосифъ назначилъ его въ числѣ «справщиковъ», которымъ было поручено исправленіе печатавшихся церковныхъ книгъ. Рослая, худощавая фигура протопopa, съ длинной бородой и вьющимися волосами, была извѣстна и во дворцѣ. Такимъ образомъ въ Москвѣ ему открылась возможность отдохнуть отъ пережитыхъ тревоженій и отъ долгой борьбы съ нищетой и насиліями. Но вскорѣ патріаршій престолъ занялъ землякъ Аввакума, Никонъ. Съ этимъ событіемъ весь ходъ вещей совершенно измѣнился.

Патріархъ Никонъ, несомнѣнно, принадлежалъ къ разряду тѣхъ сильныхъ людей, которые проникнуты и даже нѣсколько ослѣплены сознаніемъ и чувствованіемъ собственной мощи. Такой человѣкъ, преисполненный ощущеній своего могущества, обыкновенно теряетъ умѣніе видѣть предметы въ правильной перспективѣ: онъ чувствуетъ себя Антеемъ среди окружающихъ пигмеевъ. Онъ теряетъ зоркость, даже интересъ къ стремленіямъ, желаніямъ и цѣлямъ людей, живущихъ возлѣ него; всѣ

эти «мелочи», какъ онъ искренно думаетъ, исчезаютъ въ густой тѣни, лежащей отъ его крупной фигуры. Такой человѣкъ даетъ себѣ просторъ, и ему кажется совершенно естественнымъ заполнить собственной личностью цѣлую эпоху или столѣтіе. Онъ, какъ Наполеонъ I, считаетъ вполне натуральнымъ, если одно его имя слышится на всѣхъ устахъ; ему, какъ Петру Великому, кажется вполне нормальнымъ, чтобы его идеи и вкусы были общими идеями и вкусами. Само собою разумѣется, что подобное расширеніе сильной личности давитъ окружающихъ людей, которымъ трудно дышать въ столь неудобномъ сосѣдствѣ. Петръ I спросилъ у Кикина: «Почему ты, бывъ умнымъ человѣкомъ, шелъ противъ меня?» Кикинъ отвѣчалъ: «Умъ любитъ просторъ, а отъ тебя ему тѣсно»... Правда, сильный человѣкъ, весьма часто, вовсе не золъ. Онъ не совершаетъ умышленныхъ жестокостей съ преднамѣренной цѣлью сѣять страданія. Онъ просто сбрасываетъ съ своего пути препятствія, раздавливаетъ мимоходомъ, что попадается подъ ноги. Развѣ мы имѣемъ что-нибудь противъ тѣхъ насѣкомыхъ и букашекъ, которыя погибаютъ подъ нашими ногами, когда мы идемъ своею дорогою, занятые своими мыслями. Однакоже, отсутствіе злонамѣренности у крупнаго лица не смягчаетъ страданія его жертвъ, не дѣлаетъ проливаемые ими слезы менѣе горькими. Наполеонъ I хорошо сознавалъ это, говоря: «При вѣсти о моей смерти, вся Европа воскликнетъ со вздохомъ облегченія: уфъ!»

По вступленіи на патріаршій престолъ, Никонъ началъ тотчасъ же проявлять свою желѣзную энергію. Если еще недавно онъ ладилъ съ московскимъ духовенствомъ, былъ съ нимъ (по выраженію Аввакума) «яко лисъ, челомъ да здорово», то, теперь, получивъ власть, онъ сразу обнаружилъ лъвиную смѣлость и силу. Вооружаясь противъ замѣченныхъ нестроеній русской церкви, противъ искаженій въ религіозныхъ обрядахъ и церковныхъ книгахъ, Никонъ задумалъ уничтожить все это нѣсколькими

рѣшительными ударами. Прежніе справщики московской типографіи были отставлены, книги ихъ объявлены негодными, духовенству были даны категорическія запрещенія повторять ошибки старины.

Аввакумъ очень скоро понялъ тенденцію новыхъ мѣропріятій. Онъ увидѣлъ, «яко зима хоцетъ быти», и почувствовалъ, что у него «сердце озябло и ноги задрожали». Одинъ изъ первыхъ онъ заявилъ протестъ и началъ оппозицію, а съ этимъ вмѣстѣ начались его бѣдствія. Когда духовенство Казанскаго собора потѣснило непокойнаго протопопа, онъ ушелъ во дворъ Неронова и сталъ совершать богослуженіе въ сушильнѣ. За нимъ перешла значительная часть прихожанъ, которые оставили свою церковь, причемъ, нѣкоторые, по словамъ священника Ивана Данилова, заявляли открыто, что «бываетъ время, когда и конюшня иныя церкви лучше». Не стерпѣвъ этого, Даниловъ извѣстилъ Никона про ихъ «сушильное бѣдніе». И вотъ, во дворъ Неронова явился Борисъ Нелединскій во главѣ отряда стрѣльцовъ, захватилъ Аввакума съ паствой на мѣстѣ дѣйствія, билъ его, дергалъ за волосы и препроводилъ на патріаршіи дворъ, а на другой день арестантъ, окованный «юзами, чѣпью большою», отправленъ былъ въ Андроньевъ монастырь. Здѣсь Аввакумъ сидѣлъ на цѣпи, въ темной, ушедшей въ землю тюрьмѣ. Отъ времени до времени его водили на допросы и увѣщанія въ Москву, «пѣшаго, за рукава, снемши съ рукъ, яко разбойника». Эти допросы и увѣщанія состояли главнымъ образомъ въ томъ, что Аввакума поносили, и онъ въ свою очередь, «отъ писанія бранилъ да лаялъ». Наконецъ, его сослали въ Сибирь, и тутъ мы вступаемъ въ многолѣтнюю эпопею бѣдствій, обильно изливавшихся на Аввакума, вслѣдствіе суровости климата и условій сибирскихъ путей сообщенія, вслѣдствіе нужды и голода, своеволія, гнѣва и необузданности начальствующихъ. Всѣ эти бѣды здѣсь чередуются и сливаются съ попытками протопопа не прерывать священ-

нослуженіе и учительство, съ проявленіями богатырства, терпѣнія и выносливости, а главное—съ «бранью отъ писанія и съ укорами ереси Никоновой».

Но вотъ, Никонъ потерялъ свое значеніе въ Москвѣ и выѣхалъ изъ нея. Это обстоятельство повело за собою возвращеніе Аввакума въ столицу. Собственно говоря, онъ возвращался съ тѣмъ же умонастроеніемъ, съ какимъ и отправился. Онъ все-таки говорилъ и повторялъ: «хотя на меня каменіе накладываютъ, я съ отеческимъ преданіемъ и подъ каменіемъ лежу, не только подъ шпыньскою никоніанскою клятвой». Но, по пріѣздѣ въ Москву, онъ ласково былъ встрѣченъ царемъ. За царской лаской, понятно, къ нему потекла обильная пріязнь и со стороны другихъ людей. За поклономъ царя,—тонко замѣчаетъ Аввакумъ,—«и вси бояра постѣ его челомъ да челомъ». Вмѣстѣ съ почетомъ, отовсюду предлагались подарки: «всякъ талцитъ да несетъ всячиною». Нѣсколько знатныхъ домовъ открыли ему объятія горячаго гостепрѣимства. Само собою разумѣется, что такія обстоятельства не могли не умягчить сердце Аввакума, и нѣкоторое время онъ проводитъ въ благодушной праздности.

Однакоже, весьма скоро онъ замѣчаетъ, что отсутствіе личнаго врага—Никона, нисколько не измѣнило дѣла. Данный имъ толчекъ продолжаетъ дѣйствовать, и истиннымъ врагомъ оказывается не какая-либо личность, а цѣлая система новшества. Замѣтивъ это, Аввакумъ испугался своего усыпленія и возобновилъ дѣятельность. Сперва онъ ограничивался «бранью съ отступниками» въ знакомыхъ домахъ, горячими спорами съ Симеономъ Полоцкимъ и другими сторонниками новизны. Но затѣмъ онъ поднялъ голосъ и—«паки заворачалъ», по собственнымъ его словамъ. Вслѣдствіе этого, царь на него «кручиновать сталъ», «власти на него яко козлы шырекать начали», и въ результатѣ получилась новая ссылка на Мезень. «Имъ нравилось,—писалъ

позднѣе Аввакумъ, — когда я молчалъ, да мнѣ такъ не сошлось».

Черезъ полтора года послѣдовало опять возвращеніе въ Москву, но уже не на новую радость. Засѣдавшій здѣсь соборъ по дѣлу Никона хотѣлъ порѣшить и съ раскольниками. Вмѣстѣ съ другими, Аввакумъ былъ доставленъ сюда для увѣщанія. Но увѣщаніе не привело ни къ чему; протопопъ горячо отстаивалъ старыя церковныя книги: «съ сими книгами, — говорилъ онъ, — живу и умираю». Тогда его присудили къ растрижению, и обрядъ совершенъ былъ въ Успенскомъ храмѣ. «Здѣсь меня проклинали, — описываетъ Аввакумъ, — а я ихъ проклиналъ сопротивъ». Затѣмъ лишеннаго сана протопопа препроводили въ Угрѣшскій монастырь, ночью, окольными дорогами, такъ какъ въ обществѣ было опасное волненіе, отголоски котораго отзывались даже во дворцѣ. Изъ Угрѣшской тюрьмы, для устраненія возможности съ кѣмъ-нибудь сообщаться, Аввакума перевели въ тюрьму Боровскаго монастыря, причемъ препроводительный указъ предписывалъ «беречь его на-крѣпко, съ великимъ опасеніемъ, чтобы онъ съ тюрьмы не ушелъ и дурна какого надъ собою не учинилъ, и чернилъ и бумаги ему не давать, и никого къ нему не пускать, а корму давать, какъ и прочимъ колодникамъ».

Послѣ годичнаго заключенія, Аввакума опять повезли на соборъ, куда прибыли восточные патріархи. Здѣсь онъ получилъ возможность еще разъ, но уже въ послѣдній разъ, проявить публично свое упорство, смѣлость и иронію. Въ автобіографіи своей онъ рассказываетъ, что на увѣщанія греческихъ патріарховъ онъ отвѣчалъ обратными увѣщаніями; онъ совѣтовалъ имъ заимствовать свѣтъ у русской церкви и «впередъ приѣзжать къ намъ учиться». Когда возмущенные члены собора бросились на него, въ числѣ чловѣкъ сорока («велико, — замѣчаетъ Аввакумъ, — антихристово войско собралось!»), онъ закричалъ имъ: «Постойте, не бейте,

какъ же вы, убивши человѣка, будете совершать богослуженіе?» Они сѣли,—разсказываетъ Аввакумъ,—а я отошелъ къ двери и повалился на бокъ: «вы посидите, а я полежу»,—говорю имъ.—Они смѣются: «дуракъ-де протопопъ и патріарховъ не уважаетъ»; а я говорю: «мы юроди Христа ради; вы славны, мы же безчестны; вы сильны, мы же немощны».

Дѣло окончилось заточеніемъ въ Пустозерскій острогъ. Здѣсь Аввакумъ просидѣлъ 14 лѣтъ, до самой смерти. Такъ какъ его неоскудѣвавшее упорство оказывало вредное вліяніе на раскольниковъ, то рѣшено было предать узника казни. 1-го апрѣля 1681 года, на площади въ Пустозерскѣ, сдѣлали срубъ изъ дерева и ввели туда Аввакума съ тремя товарищами по заточенію. Толпа людей, молчаливо и безъ шапокъ, окружала костеръ. Дрова были подожжены, и огненные языки со струйками дыма зазмѣлились кверху. Аввакумъ стоялъ, поднявъ руку съ двуперстнымъ знаменіемъ, и говорилъ народу: «будете этимъ крестомъ молиться,—во вѣки не погибнете!..» Между тѣмъ пламя дѣлало свое дѣло, и одинъ изъ находившихся въ срубѣ крикнулъ отъ боли. Аввакумъ наклонился къ нему и сталъ увѣщевать его. Наконецъ, занавѣсъ огня и дыма скрылъ отъ глазъ зрителей послѣднюю картину жизненной драмы протопопа.

III.

Вся разсказанная выше въ нѣсколькихъ словахъ біографія проникнута, какъ мы видѣли, духомъ стойкости, упорства и непреклонности воли. Относясь самымъ строгимъ образомъ къ Аввакуму, сознавая всю глубину его богословскихъ заблужденій, нельзя, однакоже, не согласиться съ тѣмъ, что народъ, способный порождать въ своемъ лонѣ подобныя личности, имѣетъ въ себѣ великіе задатки. Отсюда должно заключить, что пресловутое русское терпѣніе отнюдь нельзя отожде-

ствлять съ пассивной безличностью. Стронуть же на такомъ отождествленіи какіе-либо планы, теоріи, упованія или мѣропріятія—невѣрно, несправедливо и опасно.

Но мы не будемъ останавливаться на этихъ косвенныхъ соображеніяхъ, мы попробуемъ вникнуть въ существо аввакумовскаго упрямства. Чѣмъ оно вызвано? Какія причины его поддерживали? Какія свойства оно проявило?

Есть мнѣніе, которое видитъ въ упорствующемъ Аввакумѣ «справщика» церковныхъ книгъ, обиженнаго тѣмъ, что его забраковали, отставили, смѣнили. Но съ этимъ мнѣніемъ, конечно, никто не согласится. Указанная въ немъ причина представляетъ собою слишкомъ мелкую чашку, чтобы ею можно было исчерпать море перенесеннаго протопопомъ тѣлеснаго и душевнаго страданія. Оскорбленное славолубіе можетъ вызвать въ человѣкѣ пламенный взрывъ, оно можетъ отлиться въ тупую боль хроническаго недовольства, но, чтобы изъза подобнаго рода обиды кто-нибудь усѣялъ долгіе годы своей жизни бѣдствіями и, въ заключеніе, пошелъ на смерть,—это едва-ли признаетъ вѣроятнымъ самый закоренѣлый честолюбецъ.

Такъ же неосновательно было бы считать причиной неуступчивости Аввакума узкій характеръ его религіозности, его слѣпую приверженность буквѣ и обряду. Лица, держаціяся такого взгляда, опираются на общее предположеніе, будто и вся вообще религіозность русскаго народа запечатлѣна тѣмъ же духомъ внѣшней обрядности. Но это утвержденіе невѣрно. Правда, съ давнихъ временъ на Руси имѣли важное значеніе богослужебные обряды, построеніе храма всегда было крупнымъ событіемъ для прихожанъ, церковныя книги изъ вѣка въ вѣкъ благоговѣнно списывались, переписывались и хранились. Однакоже, вполне неправильно было бы думать, будто вся сущность христіанства у насъ ограничивалась предѣлами внѣшнихъ предметовъ и дѣйствій;

совершенно ложно было бы полагать, будто смысл русскаго благочестія тяготѣлъ къ чему-то въ родѣ фетишизма или какого-то систематизированнаго суевѣрія.

Между суевѣріемъ и религіей огромная разница. Суевѣріе есть продуктъ смутнаго и неопредѣленнаго чувствованія людьми надъ собою, въ мірѣ, какой-то высшей могущественной силы. Что такое эта сила? Гдѣ она находится? Какъ она дѣйствуетъ? Въ чемъ состоитъ должный способъ отношенія человѣка къ ней? Всѣ эти вопросы не имѣютъ отвѣта въ головѣ и сердцѣ суевѣра. Онъ только боится и трепещетъ. Онъ подмѣчаетъ будто бы «счастливые» дни, «удачные» приемы дѣйствія, и слѣпо держится «примѣтъ»; но душа его остается пустыней, въ которой продолжаетъ царить неугасимое ощущеніе страха. Религіозный же человѣкъ знаетъ высшую силу, которой поклоняется, знаетъ пути угожденія этой силѣ. Съ тѣмъ вмѣстѣ, слѣдовательно, онъ имѣетъ передъ собою образецъ нравственнаго существованія или планъ богоугодной, хорошей жизни. Неопредѣленное чувство страха здѣсь смѣняется благоговѣйно-спокойнымъ созерцаніемъ міра, какъ дѣла рукъ Творца. Суевѣръ поклоняется амулету, вещественному предмету, въ которомъ, какъ ему кажется, заключенъ оторванный клочекъ таинственнаго, неизвѣстнаго могущества. Религіозный человѣкъ почитаетъ икону, какъ изображеніе того, на чемъ покоится ореолъ святости. Религіозный человѣкъ слѣдитъ восторженнымъ взоромъ за лучами этой святости и горитъ желаніемъ подняться по нимъ въ высоту вѣчнаго свѣта. А этотъ свѣтъ даетъ отблескъ обратно, въ душу и жизнь человѣка, сообщеніемъ критерія для отличія хорошаго отъ дурнаго, сообщеніемъ заповѣдей добра и озареніемъ мотивовъ поведенія. Чему въ состояніи научить суевѣра амулетъ? Ничему. Образъ же угодника есть чудная поэма осуществленной добродѣтели, истинная программа нравственной жизни.

Если мы не будемъ идти противъ очевидности, если мы признаемъ, что на основахъ религіозности опирался и опирается укладъ общежитія многомилліоннаго русскаго простонародья,—укладъ, уцѣлѣвавшій даже въ моменты отсутствія всякихъ внѣшнихъ юридическихъ и политическихъ скрѣпъ,—то съ этимъ вмѣстѣ мы должны признать и то, что упомянутая религіозность не есть суевѣріе, не есть слѣпое подчиненіе буквѣ и обряду. Русскій человекъ уважаетъ текстъ Писанія, но не какъ сакраментальную фразу, а какъ внѣшнюю формулу, заключающую въ себѣ священную идею; онъ уважаетъ церковный обрядъ, но не въ значеніи церемоніи, а ради заключающагося въ обрядѣ духовнаго знаменованія.

Возвращаясь къ Аввакуму, мы не можемъ согласиться съ тѣмъ, будто многолѣтняя борьба его вызвана была прикосновеніемъ критики Никона къ старому церковному быту, который протопопу хотѣлось сохранить ненарушимо, со всѣми вкравшимися сюда ошибками и порчей. Дѣло исправленія церковныхъ книгъ совсѣмъ не представляло собою чего-то невиданнаго и неслыханнаго раньше. Самъ Аввакумъ былъ «справщикомъ». Какъ бы ни плохо дѣлалъ онъ это дѣло, но все же онъ не могъ обходиться безъ критики, такъ какъ критика исправляемаго есть необходимый элементъ операціи исправленія. Прежде чѣмъ зачеркнуть хотя бы одну единственную букву въ книгѣ, нужно сначала рѣшить, что эта буква поставлена неправильно. Къ такимъ предварительнымъ рѣшеніямъ должны были, конечно, прибѣгать и справщики патриарха Іосифа, между которыми дѣйствовалъ Аввакумъ. Нѣкоторые сохранившіяся свидѣтельства говорятъ не только о критикѣ справщиковъ, но даже находятъ эту критику излишне строгой, слишкомъ свободомыслящей. Такъ, келарь Троицкаго монастыря Азаринъ жалуется, что при составленіи житія преподобнаго Сергія, справщики внесли 35 чудесъ и

отказались печатать о другихъ, такъ какъ они ихъ «вмѣняху въ случай, а не въ чудеса».

Если исправленіе книгъ при Филаретѣ и Іосифѣ происходило безъ волненій, а при Никонѣ вызвало страшное сопротивленіе Аввакума и другихъ, то причину такого явленія надо искать, во-первыхъ, въ пріемахъ дѣйствія, или, что то же, въ личныхъ свойствахъ Никона. Знаменитый дѣятель русской церкви, при всѣхъ своихъ достоинствахъ, отличался излишней стремительностью и прямолинейностью веденія дѣлъ. Въ безчисленныхъ жалобахъ раскольниковъ звучитъ особенно ярко одинъ упрекъ, упрекъ въ насильственности мѣропріятіи патріарха. «Это человекъ, — писалъ о Никонѣ раскольниковъ историкъ Денисовъ, — многокозненнаго ума, всепродерзостнаго напрасства и огнепальныя ярости». Нероновъ (другъ Аввакума) много разъ указывалъ на властолюбіе Никона, на склонность его къ насильственнымъ мѣрамъ. Въ одномъ изъ своихъ произведеній, онъ привелъ слова, будто бы сказанныя патріархомъ о царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ: «мнѣ-де и царская помощь негодна и не надобна, да таки-де на нее и плюю и сморкаю». Въ письмѣ (къ Стефану Вонифатьеву, царскому духовнику) Нероновъ писалъ: «Никонъ не по писанію насъ смиряетъ, но страсть свою исполняетъ». Въ другомъ письмѣ (къ тому же лицу) мы читаемъ: «Никонъ билъ каждого изъ насъ, налагалъ узы на нашу шею, томилъ голодомъ, позорилъ насъ, возилъ на посмѣшище по царственному граду въ колесницахъ, отлучалъ отъ братіи. Кто изъ святыхъ отцовъ такъ сдѣлалъ? Се ли яко отецъ творяше? Ни, но яко мучитель! Если мы въ чемъ ошибаемся, ему бы надо было исцѣлить наши заблужденія, а не прилагать къ язвѣ язву».

Нероновъ лично высказывалъ Никону упреки: «Подалъ благочестивый Государь тебѣ волю, и ты, не узнавая всякія руганія творишь, а ему, Государю, сказываешь, я-де дѣлаю по Евангелію и по отеческимъ пре-

даніямъ!» Въ отвѣтъ на такія порицанія, патріархъ признался: «не могу терпѣть», т.-е. не въ силахъ сдерживать свой темпераментъ, могучій въ борьбѣ и беспощадный въ гнѣвѣ. Нероновъ возражалъ: «Но кто же тогда будетъ терпѣть, если не видитъ примѣра въ тебѣ? Злой нравъ отца развращаетъ дѣтей». Изъ всѣхъ этихъ сѣтованій Неронова уясняется его мысль, съ которой онъ писалъ проникнутую молитвеннымъ духомъ челобитную Алексѣю Михайловичу объ избраніи патріарха: «Дай намъ учителя кроткаго и смиреннаго сердцемъ. Дай намъ учителя, могущаго сострадать нашимъ немощамъ. Дай намъ учителя вѣрнаго и непостыднаго, могущаго наказывать духомъ кротости. Дай намъ учителя, праваго разумомъ, могущаго утолить гнѣвъ Божій. Дай намъ учителя, вводящаго миръ отъ Бога и истребляющаго леть. Дай намъ учителя, могущаго примирить насъ съ Богомъ. Дай намъ учителя—стѣну церковнымъ чадамъ и крѣпкаго молитвенника за тебя къ Богу. Дай намъ учителя, не новоначальника, но побѣдителя страстей. Дай намъ учителя, ходящаго собою показать образъ благочестія и дѣломъ руководствовать насъ къ Богу».

Конечно, приведенные отзывы принадлежать врагамъ и противникамъ Никона, однакоже, упомянутая основная нота упрековъ не опровергается историческими фактами. Знаменитый патріархъ, дѣйствительно, былъ скоръ на рѣшенія и нетерпимъ къ противорѣчіямъ. Епископа Павла Коломенскаго, напр., за протестъ на соборѣ 1654 г., онъ низвергъ съ кафедры, снялъ съ него мантию, предаль тяжкому тѣлесному наказанію и сослалъ въ заточеніе, вслѣдствіе чего Павелъ сошелъ съ ума, и никто не видѣлъ, какъ погибъ онъ, «звѣрями ли похищенъ или упалъ и утонулъ». Истребляя ошибки въ иконописи, Никонъ приказывалъ выкалывать глаза въ неправильныхъ иконахъ и въ такомъ видѣ носить эти иконы по городу. Въ недѣлю православія, въ Успенскомъ соборѣ, онъ бросалъ подносимыя ему испорчен-

ныя иконы на желѣзный полъ съ такою силою, что онѣ разбивались. Совершенно основательно требуя въ богослуженіи стройнаго пѣнія и чтенія, Никонъ подвергалъ послушниковъ большимъ штрафамъ, суровымъ наказаніямъ безъ всякой пощады, «отдачѣ за жестокаго пристава», какъ тогда выражались. Всѣмъ, кто не торопился исполнять приказы суроваго патріарха, грозили тяжелыя цѣпи, тюрьма, деревянныя колодки на шею и т. д.

Такимъ образомъ, въ сферу наиболѣе дорогихъ и завѣтныхъ человѣческому сердцу убѣжденій здѣсь вторгался безцеремонный и рѣзкій приказъ сверху. Религиозное чувство людей регламентировалось циркуляромъ, который считалъ народную душу бѣлымъ листомъ бумаги и требовалъ неразсуждающаго, быстрого повиновенія себѣ. Потому-то, въ отвѣтъ на мѣропріятія Никона, въ населеніи слышались негодующіе возгласы: «нельзя же силою заставить молиться Богу!» Громкія командныя слова, дѣйствительно, такъ же не на мѣстѣ въ мірѣ совѣсти, какъ и громкіе военные крики въ храмѣ. Методъ неосторожныхъ приказовъ какъ бы предполагаетъ въ обществѣ индифферентизмъ и, въ свою очередь, естественно ведетъ къ насажденію этого индифферентизма. Если человѣческая совѣсть привыкаетъ пассивно принимать циркуляръ одного патріарха, а затѣмъ противоположное повелѣніе другаго патріарха, если совѣсть одинаково выслушиваетъ постановленіе Стоглаваго собора и рѣшеніе собора 1667 года, которое говорить о первомъ: «той соборъ не въ соборъ, и клятву не вклятву, но ни во что вмѣняемъ, яко же и не бысть»,— то въ этой совѣсти напрасно было бы искать прочнаго устоя. При такомъ положеніи вещей, церковь оставляетъ свое великое значеніе руководительницы народнаго благочестія и становится чѣмъ-то въ родѣ государственнаго департамента внѣшняго народнаго благонравія.

Надо думать, что именно это утѣсненіе совѣсти вызвало душевное смущеніе, которое почувствовалъ Ав-

вакумъ, при первыхъ мѣрахъ Никона, и которое онъ выразилъ словами: «видимъ, яко зима хоцетъ быти; сердце озябло и ноги задрожали». То же ощущение насилія проступало въ челобитной протопопа къ Алексѣю Михайловичу: «Ничто тако расколъ творить, яко любоначалье во властѣхъ». Чужое рѣзкое прикосновеніе къ интимному міру религіозной души вызывало въ Аввакумѣ недовольство, которое проходитъ сплошной полосой въ его автобіографіи, прорываясь скорбными сѣтованіями или злобной проніей, а иногда и грубыми гнѣвными криками. Нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что, совершая подвиги «ревности не по разуму», отстаивая «аллилюю» или борясь за двуперстіе, Аввакумъ — сознательно или безсознательно — защищаль свою духовную личность, боролся за свободу своей совѣсти.

Но этотъ мотивъ не былъ единственнымъ въ дѣятельности протопопа. Едва-ли будетъ ошибочно предположить, что, отстаивая свою личность, Аввакумъ сражался и за національную личность, намѣревался защитить оригинальность русскаго духовнаго и общественнаго склада жизни.

IV.

XVII столѣтіе было вѣкомъ кризиса въ русской исторіи. Въ это время въ Россіи начинается чувствоваться особенно сильно притокъ чужеземныхъ вліяній. Правда, русскіе съ давнихъ поръ шли на встрѣчу западному вліянію, но они обращались къ нему съ запросами опредѣленнаго, спеціальнаго характера. Существование этихъ запросовъ ясно видно, напр., въ томъ, что писалъ Михайлъ Ѳедоровичъ, приглашая голандца Оларія: «Вѣдомо намъ учинилось, что ты гораздо наученъ и навыченъ астроложии, и географусъ, и небеснаго бѣгу, и землемѣрію и инымъ многимъ подобнымъ мастерствамъ, а намъ великому Государю таковъ мастеръ го-

день». Чужеземецъ, слѣдовательно, призывался какъ мастеръ, могущій обучить Россію наукамъ и разработанной на западѣ техникѣ жизни. Но, къ сожалѣнію, предложеніе не отвѣчало спросу. Европа вторгалась въ полувотворенные русскіе предѣлы, какъ въ завоеванную страну; она не ограничивалась сообщеніемъ ученику «полезныхъ искусствъ», а стремилась проникнуть въ самую глубь его души. Западъ въ этомъ отношеніи показалъ себя плохимъ наставникомъ, ибо обнаруживалъ склонность презирать и насиловать своего питомца.

Было бы долго рассказывать все, что приходилось русскимъ терпѣть отъ иностранныхъ гостей. Вспомнимъ, для примѣра, исторію сватовства царевны Ирины Михайловны. Женихъ, датскій принцъ Вольдемаръ, долго жилъ со своими дворянами въ Москвѣ, и москвичи имѣли достаточно времени, чтобы оцѣнить отношеніе къ нимъ образованныхъ европейцевъ. Самъ королевичъ и его свита постоянно подсмѣивались надъ царемъ и патриархомъ, надъ боярами и духовенствомъ. Низшіе слуги Вольдемара, поощряемые худымъ примѣромъ, грубо издѣвались надъ простыми людьми, оскорбляли словомъ и дѣломъ русскихъ женщинъ, насмѣхались надъ русской набожностью, надъ православной святыней, надъ крестнымъ знаменіемъ, надъ иконами, которыя они срывали со стѣнъ зданій и подвергали кощунству (подробности см. въ соч. г. Голубцова «Пренія о вѣрѣ», 1891 г.).

Конечно, между русскими находилось много людей, которые, не взирая ни на что, перенимали новые обычаи и поддерживали прогрессирующую подражательность западнымъ образцамъ. Но были и люди, относившіеся къ этому съ сомнѣніемъ. Ихъ озабочивало соображеніе о томъ, что «каждая страна имѣетъ свою отчину и свой законъ, и не переходятъ они отъ одной страны къ другой». Еще въ XVI столѣтіи, Максимъ Грекъ описывалъ Парижъ въ такихъ чертахъ: «Паризія градъ есть нарочить и многочеловѣченъ въ Галіехъ, яже нынѣ глаго-

лются Франза, держава велія и преславная и богатяща безчисленными благами. Тамо обрящени всякое художество». Въ отвѣтъ на это прославленіе Франціи, бояринъ Берсень замѣтилъ: «Вѣдаешь и самъ, господине, а и мы слышали у разумныхъ людей, которая земля перестановливаетъ обычаи свои и та земля не долго стоитъ». Въ скромныхъ словахъ боярина слышится сердечная тревога. Берсень чувствовалъ опасеніе, которое вѣкомъ позднѣе формулировалъ Крижаничъ: «Нѣмцы убѣждаютъ насъ ко всему новому; хотятъ, чтобы мы, презрѣвши свои похвальные древнія учрежденія и нравы, сообразовались съ ихними нравами и законами».

Всѣ, кто опасался новизны, шедшей съ Запада, встревожились новшествами реформы Никона. Они соединяли эти два явленія въ одно, такъ какъ видѣли подъ знаменемъ реформы лицъ, кичащихся своимъ «латинскимъ» просвѣщеніемъ. Плещеевъ писалъ къ Неронову, на первыхъ же порахъ предпріятій Никона: «Паче гречанину Арсенію, соблазнившемуся въ латинѣ, нежели похвальной правдѣ Христовой вѣровати велятъ.» Аввакумъ держался того же мнѣнія. Онъ замѣчалъ вокругъ себя могучій вихрь новизны и думалъ, что этотъ вихрь уноситъ съ собою Никона, который будто бы говорилъ Арсенію: «печатай, Арсень, книги какъ-нибудь, лишь бы не по-старому». Онъ твердо вѣрилъ, что «никониане истинныя вѣры отрекшеся, къ западнымъ приложися, возлюбили поступки римскаго костела и мудрованіе поляковъ». И протопопъ метался въ искреннемъ ужасѣ передъ грядущимъ. «Охъ, бѣдная Русь! восклицалъ онъ. Чего тебѣ захотѣлось? Латинскихъ ли обычаевъ и поступковъ нѣмецкихъ? А свои истинные законы возненавидѣли и отвергли...» Въ томъ же духѣ изображалъ онъ впечатлѣнія, полученные имъ отъ разныхъ новшествъ въ письмѣ къ Морозовой: «Охъ, собаки! Что имъ старина помѣшала!»

Разсматривая такое душевное волненіе Аввакума, невольно кажется, будто онъ прозрѣвалъ въ будущее и

видѣлъ тамъ фаланги «насадителей культуры», наводняющія Россію, видѣлъ растерянное смущеніе русскаго ума, ослѣпленнаго шедеврами европейской цивилизаціи, видѣлъ длинный рядъ годовъ духовнаго плѣненія, цѣлыя эпохи копированія, приведшія къ потерѣ собственныхъ критеріевъ, къ расшатанности принциповъ, къ рабскому повторенію чужихъ словъ, къ сведенію сильнаго народа на степень вѣчнаго школьника и къ смертельно-скучной жизни существа, которое потеряло способность энергически дѣлать свое дѣло, потому что слишкомъ долго стояло въ позѣ празднаго зрителя чужаго труда. Наблюдая ужасъ Аввакума предъ новшествами, невольно кажется, будто онъ видѣлъ за ними перспективу общественныхъ метаній изъ стороны въ сторону, долгое чередованіе эпохъ, поражающихъ искусственной взвинченностью общественныхъ эмоцій, и эпохъ безжизненнаго гипнотическаго сна,—чередованіе эпохъ, одинаково печальныхъ и одинаково сулящихъ бѣды. Конечно, было бы странно утверждать, будто предвкушеніе всего этого дѣйствительно находилось въ сознаніи Аввакума. Но нельзя отрицать и того, что протопопъ отчасти могъ судить о смыслѣ надвигавшейся «новизны» по современнымъ ей представителямъ, хотя бы въ родѣ Симеона Полоцкаго.

Во время своего пребыванія въ Москвѣ, еще на свободѣ, Аввакумъ часто велъ горячіе споры съ Полоцкимъ, при чемъ послѣдній каждый разъ подавлялъ протопопа ученостью, уличая его въ томъ, что онъ «не умѣетъ науки». Отдавая должное заслугамъ Симеона, не слѣдуетъ однакоже терять изъ вниманія отличительныя свойства его личности. Полоцкій явился въ столицу Россіи, вооруженный латинской эрудиціей польскихъ іезуитскихъ школъ. Выдвигая на видъ свое знаніе, среди невѣжества, которое—какъ ему казалось—окружало его въ Москвѣ, онъ самодовольно говорилъ о томъ, какъ «божественная благодать сподобила его странныхъ ідіомать преблагоцвѣтныя

вертограды видѣти посѣтити». Ставъ лицомъ къ лицу съ глубокой исторической драмой эпохи Никона, онъ сразу примкнулъ къ дѣятелямъ смѣлой ломки, къ сторонникамъ новизны и западноевропейскихъ вліяній. Спрашивается, какія же черты носила на себѣ его дѣятельность? Прежде и ярче всего здѣсь бросается въ глаза необыкновенная страсть Симеона писать «книжицы хитростью піитического ученія». Онъ быстро завоевалъ себѣ необычное до того времени въ Россіи положеніе придворнаго стихотворца, съ присущей этому званію льстивой угодливостью. Наводняя всѣ семейные царскіе праздники безконечно длинными виршами, онъ обращалъ то же оружіе «піитического художества» и къ прочимъ сильнымъ міра, желая обратить на себя милостивое и щедрое вниманіе ¹⁾. Такая ласковая поэзія не мѣшала присутствію въ характерѣ Полоцкаго нѣкоторой жесткой прозы, на чтò намекаетъ чудовскій инокъ Евфимій, говоря о немъ: «Этотъ человекъ смиренно челомъ бьетъ и кланяется до земли, дабы камень собралъ и на главу твою металъ: онъ сказуетъ: виновать, а за дверьми наготовилъ на тебя семь лопать».

Кромѣ піитики, Симеонъ преуспѣвалъ и въ риторикѣ, которою наполнены его безчисленные, отличающіяся заказной искусственностью, проповѣди. Не менѣе того онъ былъ силенъ въ діалектикѣ, доставлявшей ему умѣніе оперировать силлогизмами и побѣждать въ полемикѣ. Вообще, его ученость носила на себѣ всѣ свойства схоластики. Но схоластика его была не той жизненной и свѣжей средневѣковой мудростью, которая под-

¹⁾ Вотъ примѣръ его искусства,—стихи на именины Хитрово:

Отъ всей души всѣхъ ти благъ желаю
 А себя къ стопамъ твоимъ повергаю:
 Le bracy laski bym wnicy byl chowany
 I za wiernego sluzke poszytany.
 Азъ бо вседушно хочу ти служить
 И въ числѣ вѣрныхъ твоихъ вмѣненъ быти и т. д.

нималась на почтенную высоту въ лицѣ Ѳомы Аквинскаго и была выразительницей умственной пытливости своей эпохи. Ученость Симеона была схоластикой временъ Оккама, когда отъ нея оставалась лишь внѣшняя, сухая шелуха, состоящая изъ логическихъ контраверсъ и казуистическихъ тонкостей. Эрудиція Полоцкаго была вполнѣ запечатлѣна духомъ формализма, въ которомъ суть вещей исчезала, глубокіе интересы дѣйствительности, исторіи, народности и государства отходили въ сторону, а оставался лишь механизмъ словесныхъ и логическихъ формулъ, механизмъ, правда, хорошо смазанный и легко вращавшійся по вѣтру. Такимъ образомъ, когда въ Европѣ Бэконъ и Декартъ уже указали новые приемы мышленія, когда Спиноза въ Голландіи пытался поднять зданіе философіи вплоть до горняго обиталища Божія, когда въ Англіи Гоббесъ трудился надъ Левіоѳаномъ, а въ Италіи уже давно прозвучалъ патріотическій вопль Макиавелли, — Симеонъ Полоцкій, съ самодовольною гордостью, предлагалъ Россіи европейскую мудрость, полтора столѣтія тому назадъ воспѣтую въ «Похвалѣ глупости» Эразма и уцѣлѣвшую развѣ кое-гдѣ, въ глухихъ щеляхъ захолустныхъ школъ. Нельзя не признать знаменательнымъ явленіемъ, что «модныя вещи» перваго же заграничнаго привоза оказались вещами давно прошедшаго сезона.

Здравый смыслъ Аввакума, весь проникнутый интересами своей эпохи, весь уходящій въ жизненный круговоротъ своего времени, съ негодованіемъ видѣлъ въ «философскомъ киченіи» (чужими обносками) сторонниковъ новизны полный индифферентизмъ къ существу дѣла, къ историческимъ преданіямъ, къ сокровищу народныхъ чувствъ и идеаловъ. Онъ проклиналъ силлогистическую бойкость своихъ противниковъ, потому что понималъ секретъ этой бойкости: равнодушіе къ предмету спора всегда даетъ ловкость полемисту, — какъ спокойствіе сердца фехтовальщика сообщаетъ быстроту и ловкость его шпагѣ. Аввакумъ чувствовалъ нищету внутренняго содержанія

и смѣшную искусственность рѣчи схоластиковъ, когда говорилъ: «ваши нынѣшніе дождями прокислые мудрецы трясущими руками пишутъ». Онъ никакъ не могъ считать серьезными строителями будущности Россіи подражателей, щеголявшихъ наивными заимствованиями, воспѣвавшихъ боярскія именины или увѣрявшихъ царя, будто «звѣздное теченіе многое и предбудущее, яко настоящее возвѣщаетъ по волѣ Божіей». Поэтому онъ вполне сочувствовалъ своему товарищу Лазарю, который писалъ Алексѣю Михайловичу: «Имѣеши у себя мудрыхъ философовъ, рассуждающихъ лицо небеси и земли, и у звѣздъ хвосты аршиномъ измѣряющихъ. И ты хочещи внѣшними ихъ плетухами власть свою мирну управити».

Аввакумъ обнаруживалъ искреннее опасеніе, чтобы изъ-за суеты заимствованія обычаевъ и перестройки жизни по чужимъ образцамъ не померкло въ обществѣ памятованіе о внутреннемъ, душевно-важномъ. Надо думать, что это опасеніе было въ его мысли, когда онъ писалъ: «у никоніанъ всѣ говорятъ только, какъ продавать, какъ покупать, какъ ѣсть, какъ пить». Та же мысль звучитъ косвенно и въ его изображеніи «праваго» священника: «онъ не искалъ ренскихъ и романѣй, водокъ и винъ процѣженныхъ, и пива съ кардамономъ и медовъ малиновыхъ и вишневыхъ и бѣлыхъ разныхъ крѣпкихъ».

При столкновеніи съ противниками, Аввакумъ велъ споры, не какъ диспутъ, чтобы насладиться словесной побѣдой, а какъ битву за нѣчто ему дорогое. «Ты,—кричалъ онъ однажды Симеону Полоцкому,—ищешь въ словопреніи высокія науки, а я прошу у Христа поклонами и слезами и мнѣ кое общеніе съ вами». Присутствовавший при спорѣ сторонникъ новизны Матвѣевъ «противъ того сквозь зубовъ молвилъ: и намъ съ тобою не сообщно». Полоцкій же началъ распространяться на свою постоянную тему о томъ, что протопопъ «не умѣетъ науки». «И я въ то время плюнулъ», заключаетъ рассказъ Аввакумъ.

Такимъ образомъ, если Аввакумъ борясь съ приказами Никона, защищалъ, какъ мы видѣли, свою совѣсть или свою духовную личность, то, сражаясь съ новшествами, онъ пытался остаивать русскую духовную самостоятельность. Указывая на эти два главные мотива дѣятельности протопопа, мы не рассматриваемъ ихъ по существу. Въ нашу цѣль входитъ не изложеніе нашихъ личныхъ взглядовъ, а раскрытіе точекъ зрѣнія и отправныхъ пунктовъ самого Аввакума.

V.

Посмотримъ теперь, какія черты проявилъ Аввакумъ во время прохожденія имъ жизненнаго тернистаго пути? Что бросается намъ въ глаза, когда мы изучаемъ его образъ въ отдаленіи двухвѣковаго прошедшаго? Не былъ ли онъ, просто, ханжей, т. е. человѣкомъ, у котораго подъ жестокой оболочкой внѣшняго благочестія таилась гидра мелкихъ побужденій и ядовитыхъ страстей? Быть можетъ Никонъ не былъ неправъ, когда говорилъ о протопопѣ и его товарищахъ: «Знаю я пустосвятовъ тѣхъ!»

Нельзя отвергать, что многія страницы «Житія» Аввакума какъ бы подкрѣпляютъ мнѣніе Никона. Это тѣ страницы, на которыхъ мы читаемъ длинную повѣсть о вѣщихъ сновидѣніяхъ, о прорицаніяхъ, объ исцѣленіяхъ, которыя будто бы совершалъ Аввакумъ, и о случаяхъ борьбы его съ бѣсами, «какъ съ собаками». Но, вглядываясь въ существо дѣла, мы приходимъ къ заключенію, что все это должно быть поставлено не столько на счетъ протопопа, сколько на счетъ времени, проникнутаго привычной для всѣхъ атмосферой чудеснаго. Едва-ли можно назвать ханжей человѣка, который относился къ самому себѣ съ неоскудѣвающей, строгой критикой. А между тѣмъ, въ Аввакумѣ ярко проявляется эта черта. Онъ не усыплялъ свою совѣсть побряжками; напротивъ, онъ ловилъ свои предсудительныя побужденія и тотчасъ же

произносилъ имъ суровый приговоръ. Едва въ головѣ его проносится вызванная страданіями, мятежная мысль о несправедливости Провидѣнія, и сейчасъ же недремлющій самоанализъ уже спѣшитъ побороть ее неліце-приятнымъ осужденіемъ. «Какъ добрый человѣкъ,—саркастически говоритъ Аввакумъ самому себѣ,—другой фарисей, съ навозной рожей, со Владыкою судиться захотѣлъ!» Весьма часто горячая филиппика противъ враговъ у него внезапно обрывается словомъ покаянія: «простите, никоніаны, что избрали вась, живите какъ хотите». Моменты ослабленія молитвеннаго рвенія всегда вызываютъ въ немъ искреннюю душевную муку. Факты же сомнительнаго моральнаго качества поднимаютъ въ его совѣсти долго не унимающееся волненіе. Такъ, вывезя съ собою тайно изъ Сибири одного бѣглаго человѣка, чтобы «схоронить его отъ смерти», Аввакумъ испытываетъ большую тревогу: сдѣлалъ ли онъ хорошее или дурное дѣло? Перевѣшиваетъ ли здѣсь злой фактъ жи или добрый фактъ спасенія человѣка? Аввакумъ долго ищетъ рѣшенія гнетущаго сомнѣнія въ книгахъ Писанія и въ живой нравственной мудрости своего духовника, старца Епифанія.

Вѣрнѣйшій признакъ, по которому узнается ханжа, заключается въ безпощадности къ чужимъ прегрѣшеніямъ. Игнорируя собственные грѣхи, какъ нѣчто не важное, ханжа постоянно на стражѣ поведенія окружающихъ людей. Чужой порокъ для него невыносимъ. Ханжа проявляетъ поразительную зоркость ко всякой соринкѣ въ чужомъ глазу. Его обоняніе необыкновенно чутко уловляетъ малѣйшую струю предосудительной страсти, и онъ спѣшитъ со своимъ безжалостнымъ обличеніемъ, съ незнающей пощады карой. Не то мы видимъ въ Аввакумѣ. Онъ, правда, не былъ слѣпъ и равнодушенъ къ окружающему. Онъ не скупился на горячія порицанія тому, что ему казалось недолжнымъ въ жизни «ніконіанъ». Онъ не церемонился обращаться съ суровымъ упрекомъ

и къ своимъ единомышленникамъ, когда замѣчалъ въ нихъ что-либо достойное осужденія. Такъ, онъ писалъ изъ Пустозерска къ сторонникамъ старины, въ средѣ которыхъ обнаружались несогласія: «Затекаете во многомъ мудрованіи своемъ и уже другъ друга гнушаетесь и хлѣба не ядите другъ съ другомъ. Глупцы отъ гордости, что черви капустные, всѣ пропадете!» Однакоже эта строгость Аввакума не была строгостью ханжи. Изъ того же пустозерскаго заточенія онъ внушалъ, чтобы «кающагося во всякое время прощать, тоже и молиться за противнаго, помышлять о судномъ днѣ и грѣхахъ своихъ, а чужихъ не считать».

И это не была лишь простая учительная фраза, а серьезный жизненный принципъ. Вся автобіографія усѣяна соответственными примѣрами. Измѣна, напр., стараго друга, Ивана Неронова, вызываетъ у Аввакума только сострадательный вздохъ: «по многомъ страданіи, изнемогъ бѣдный. Охъ, горе! Да борется каждый, чтобы не пасть: лихо время»... Описывая свою бесѣду съ діакономъ Козьмою, который отпалъ отъ «стараго благочестія», протопопъ заключаетъ: «Я заплакалъ, благословилъ его горюна, больше того мнѣ нечего съ нимъ дѣлать». Вѣсть о сыновьяхъ, испугавшихся смерти и соединившихся съ никоніанами, не вызывала въ отцѣ вспышекъ гнѣва или проклятій. Напротивъ, Аввакумъ обращается мыслью къ слабости, присущей человѣческой природѣ, и говоритъ въ духѣ всепрощенія: «страшна смерть, недивно! Нѣкогда и другъ ближній Петръ отрекся, а на ребятъ и дивить нечего!» Вспоминая свои страданія въ Сибири отъ воеводы Папкова, Аввакумъ бросаетъ мимолетную, но чрезвычайно характеристическую фразу: «Десять лѣтъ онъ меня мучилъ, или я его, не знаю; Богъ разберетъ въ день вѣка». Обнаруживая такую неохоту «считать чужіе грѣхи», протопопъ очень часто горячо восхваляетъ чужіе подвиги. «Да что много говорить, — восклицаетъ онъ въ такихъ случаяхъ, — не на

басняхъ проходилъ подвигъ, не какъ я окаянный». Относительно же кающихся, у него не было мѣры ласки и всепрощенія. Объ одномъ изъ такихъ раскаявшихся Аввакумъ пишетъ: «Цѣлую руки и ноги его и главу ту страдальческую, обнимаю, лобызаю, обливаю плачемъ. Что же сдѣлать съ временнымъ заблужденіемъ? Худо сдѣлано, немужественно. Да что говорить? Всѣ мы чловѣцы немощни праху подобны». Намъ становятся, такимъ образомъ, понятны слова Плещеева о «добролюбезномъ нравѣ» Аввакума, о его отеческой любви и по Христѣ дружбѣ».

Само собою разумѣется, что всѣ приведенныя слова и мнѣнія не могутъ принадлежать настоящему «пустосвяту». Правда, иногда гнѣвъ Аввакума растетъ, вздымается горой негодованія и низвергается потокомъ угрозъ и проклятій. «Дайте-ка срокъ, кричить онъ, — я вамъ и лучшему-то на горло ступлю о Христѣ Иисусѣ». Или, въ посланіи къ Θεодору Алексѣевичу: «А что, царь-государь, какъ бы ты мнѣ волю далъ, я бы ихъ, что Илія пророкъ, всѣхъ перепласталъ въ единъ день, не осквернилъ бы рукъ своихъ, но и освятилъ, чаю. Перво бы Никона разсѣкли на четверо, а потомъ бы никоніанъ». Эти строки, конечно, дышать нехорошей злобой и явной жадой насилія. Но проступающее здѣсь насиліе—не то, которое обыкновенно владѣетъ душой и сердцемъ ханжи. Насиліе ханжи движется подъ сѣнью атрибутовъ благочестія, оно идетъ со смиренно сложенными руками, среди оѳіміама кадильницъ; оно, наконецъ, накладываетъ петлю на жертву, съ лицемѣрной кротостью, точно совершая священнодѣйствіе. Аввакумовскій же гнѣвъ шумитъ и неистовствуетъ, онъ устремляется въ бой и размахиваетъ оружіемъ съ отвагой и дерзостью разбушевавшагося витязя.

И такъ, мы не находимъ чертъ ханжи въ Аввакумѣ. Но не былъ ли онъ суровымъ аскетомъ, которому противна жизнь съ ея радостями и который возводитъ стра-

даніе въ первый нравственный законъ человѣческаго существованія?

Есть факты, дающіе повидимому утвердительный отвѣтъ на этотъ вопросъ. И въ самомъ дѣлѣ, въ отношеніи Аввакума къ человѣческимъ бѣдствіямъ иногда какъ будто сквозитъ леденящее дыханіе аскетизма. Однажды, на Мезени, между другими упорными раскольниками, казненъ былъ юноша Лука. Жестокая смерть подкосила молодое существованіе. вмѣсто перспективы долгихъ житейскихъ утѣхъ, вмѣсто сладкаго бремени добросовѣстно исполненныхъ трудовъ и обязанностей, судьба дала Лукѣ печальную веревку, «переброшенную на релѣхъ». Казалось бы, что въ этомъ событіи нѣтъ ничего отраднаго, а между тѣмъ, Аввакумъ говоритъ о немъ съ нескрываемой радостью: «Аще и младъ, да по-старому сдѣлалъ, пошелъ самъ ко Владыцѣ; хотя бы и старый такъ догадался!»... Въ посланіи въ Москву, «къ горемыкамъ миленькимъ», протопопъ прямо заявлялъ; «Любо мнѣ, что вы охаете: Охъ! Охъ!... Меньше спите, другъ друга убуждайте». Въ посланіи же его къ Симеону мы находимъ категорическое, горячее восхваленіе смерти, страстное, краснорѣчивое воззваніе къ самосожженію. «На что лучше сего? — восклицаетъ Аввакумъ. — Съ мучениками въ чинъ, съ апостолами въ полкъ, со святителями въ ликъ. А въ огнѣ-то здѣсь небольшое время потерпѣть. Аки окомъ мигнуть, такъ душа и выступить... Боишься печи той? Дерзай, плюнь на нее, не бойся. До печи-то страхъ, а когда въ нее вошелъ, тогда и забылъ все. Когда же загорилъ—и видишь Христа и ангельскія силы съ нимъ. Емлютъ душу тѣ отъ тѣлесъ и приносятъ ко Христу; она ровно какъ птичка попархиваетъ, рада изъ темницы вылетѣть. Темница горитъ въ печи, а душа, яко бисеръ и яко золото чисто, взимается со ангелы выперъ во славу Богу».

Не есть ли все это самый строгій аскетизмъ? Не отзываются ли на этотъ страстный зовъ жизнененавист-

ники всѣхъ временъ и странъ, начиная съ индійскихъ факировъ, жаждущихъ слиянія съ Нирваной, и кончая средневѣковыми европейскими самоистязателями, которые горѣли пламеннымъ желаніемъ сорвать съ себя презрѣнную земную оболочку позорной плоти?

Однакоже, взглядываясь ближе въ личность Аввакума, мы замѣчаемъ нѣчто иное. Мы ясно различаемъ, что онъ прославлялъ страданіе, не какъ самостоятельную цѣль, а только какъ неизбежное свидѣтельство и слѣдствіе твердыхъ убѣжденій. Онъ восхвалялъ бѣдствія, какъ можно восхвалять терніи, усѣивающія единственный путь въ обѣтованную землю свѣтлаго идеала. Онъ училъ не бояться смерти, но не искать ее, какъ самоцѣльное благочестивое дѣло. Онъ желалъ укрощенія плоти, но не истребленія ея, что явно звучитъ въ слѣдующемъ совѣтѣ его Морозовой: «А буде облѣнишься на ночную молитву, въ тотъ день окаянной плоти и ѣсть не давай: не игрушка душа, что плотскимъ покоемъ ее подавлять». Но онъ никому не совѣтовалъ дѣлать спеціальностью благочестія уничтоженіе тѣла. Онъ зналъ болѣе высокія жизненныя задачи моральнаго добра, когда говорилъ старицѣ Анисѣ, принадлежавшей къ боярскому роду: «Не разсуждай о величествѣ сана своего, яко боярышня, отрицайся мысли сея и оплюй ее... Слушай-ка, Анисья? умѣешь ли ты молоть? Мели рожь въ жерновахъ, да на сестеръ хлѣбъ пеки или въ пекарнѣ шти вари да сестрамъ разноси». Эти слова сразу образуютъ бездну между живою личностью протопопа и мертвенными ликами настоящихъ аскетовъ.

То же самое проступаетъ и въ отношеніи Аввакума къ собственнымъ бѣдамъ. Онъ принимаетъ удары судьбы не съ радостью поклонника страданій, а чаще всего съ ироніей удали, на подобіе того, какъ встрѣчаетъ раны мужественный рыцарь на полѣ битвы. Описывая свои заточенія, рассказывая о томъ, какъ ему приходилось лежать на саломкѣ «точно собачка» съ гнющею спиной,

среди всякой нечисти, онъ прибавляетъ: «мышей много было, я ихъ скуфьей билъ, — и батожка не дадутъ дурачки!» Повѣствуя о своемъ разстриженіи, онъ говорить: «зѣло ми тяжко было», и однако тутъ же замѣчаетъ: «оборвали, одинъ хохоль оставили, точно у поляка на лбу». Отъ времени до времени, въ сплошной исторіи бѣдствій, прорывается строка, мелкаетъ слово, въ родѣ просьбы о присылкѣ «малинки», или въ родѣ благодарнаго воспоминанія о «курочкѣ, дававшей ежедневно по два яйца, помогая его нуждѣ»,—и мы различаемъ въ Аввакумѣ не одеревѣлаго аскета, а живаго человѣка. Иногда боль этого человѣка сквозить подъ оболочкой богатырскаго мужества, и мы слышимъ (напр. въ посланіи къ Маремьянѣ) вздохи надорваннаго здоровья, стоны отъ лома въ костяхъ и плачь о тщетно потраченныхъ силахъ. Все это, правда, тотчасъ же преодолевается рѣшимостью претерпѣть до конца и не поддаться отчаянію, но мы уже видимъ, въ чемъ дѣло. Передъ нами воинъ въ смертномъ бою: его воинственные крики еще не умолкаютъ, его руки еще поднимаютъ и опускаютъ оружіе, но мы уже чувствуемъ подъ его одеждой глубокія раны, мы уже видимъ въ его глазахъ эпопею вынесенныхъ мукъ и тоску ожиданія смерти.

Не признавая Аввакума ни ханжей, ни аскетомъ, мы не можемъ назвать его и фанатикомъ, Говоря вообще, фанатикъ всегда маньякъ. Фанатикъ всецѣло преданъ одной идеѣ. Онъ видитъ лишь одну специальную цѣль и стремится къ ней съ неудержимою прямолинейностью. Онъ слѣпъ ко всему остальному. Одинъ свѣтлый, лучезарный, манящій пунктъ и непроглядный мракъ кругомъ, — таково психическое состояніе человѣка, охваченнаго фанатизмомъ.

Не то мы видимъ въ Аввакумѣ. Онъ, дѣйствительно, имѣетъ свое специальное, дорогое его сердцу дѣло, но окружающая жизнь не исчезаетъ изъ поля его зрѣнія. Его душа не звучитъ болѣзненнымъ унисономъ. Въ

ней цѣлы самыя различныя струны, способныя отзываться на самыя разнообразныя жизненныя впечатлѣнія. Люди не кажутся ему лишь мертвымъ матеріаломъ, удобнымъ или неудобнымъ для достиженія излюбленной цѣли. Аввакумъ — наблюдательный психологъ. Онъ отлично знаетъ, напр., что за поклономъ сильнаго человѣка кому-нибудь или чему-нибудь всегда происходитъ суета поклона въ томъ же направленіи окружающихъ мелкихъ людишекъ. Онъ знаетъ, что «когда бабы бываютъ добры, то и все о Христѣ бываетъ добро». Онъ знаетъ, что людская пріязнь и непріязнь движется на подобіе волнъ прилива и отлива, но управляется не велѣніями разума, а ласкательствами или оскорбленіями эгоистическихъ страстей. Онъ знаетъ, что подъ человѣческимъ величіемъ часто скрывается пошлость, а въ скромной личности часто таится величіе. Ему извѣстна человѣческая «жидкость на расправу», въ силу которой тотъ, кто вчера еще поносилъ насъ бранными словами, сегодня уже называетъ насъ «батьюшкой».

Всѣ эти знанія обусловливаютъ меткость слова Аввакума, тонкость его ироніи и силу его сарказма. Въмѣстѣ съ тѣмъ, та же открытость его души къ окружающему міру дѣлаетъ ее доступной полной гаммѣ человѣческихъ чувствъ. На-ряду съ гнѣвомъ противъ злобы враговъ, здѣсь громкій смѣхъ надъ ихъ оплошностями; на-ряду съ дѣловыми радостями и печальми, здѣсь теплая память о семействѣ, о малолѣтней дочери Аграфенѣ, «бѣдной горемыкѣ, о женѣ — вѣрной спутницѣ жизни». «У меня, — говоритъ онъ о послѣдней, — Марковна сидитъ себѣ въ землѣ съ дѣтьми, будто въ клеткѣ (т. е. въ заточеніи), — и мы слышимъ въ этой шуткѣ скрытое восхищеніе мужествомъ жены, видимъ слезы умиленія... Когда подъ окно Угрѣшской тюрьмы Аввакума подходили его сыновья, чтобы провѣдать, «живъ ли онъ или мертвъ», протопощъ не терзалъ ихъ сердце жалобами на судьбу, а крикнулъ имъ съ заботливостью отца обо-

дряющее слово: «живите да не тужите!»! Сидя въ пожизненномъ заключеніи въ Пустозерскѣ, Аввакумъ вспоминаетъ о своей, упомянутой выше, дочери Аграфенѣ, съ истинно родительскою нѣжностью: «Нынѣ уже ей 27 годовъ. Дѣвицею, бѣдная моя, на Мезени съ меньшими сестрами перебиваяся кое-какъ, плачучи, живутъ»...

Даже въ предѣлахъ специальной своей борьбы съ новизнами, Аввакумъ не выступаетъ передъ нами въ мрачномъ образѣ ослѣпленнаго фанатика. Его нападки на противниковъ обличаютъ не узкаго маньяка, а живаго человѣка. Недовольный новшествами въ иконописи, онъ говоритъ: «Пишутъ Спасовъ образъ—лице одутловатое, уста червонныя, власы кудрявыя, руки и мышцы толстыя и весь яко нѣмчинъ, брюхатъ и толстъ учиненъ, лишь сабли на бедрѣ не написано». Можно ли оспаривать, что это слова сатирика, а не фанатика? Въ самые горячіе его монологи вырывается струя жизненности и мѣшаетъ имъ принять видъ фанатической проповѣди. «Нутко, правовѣрный! — восклицаетъ онъ въ одномъ мѣстѣ «Житія», — нарцы имя Христово, стань среди Москвы, перекрестися двумя персты, — вотъ тебѣ царство небесное дома родилось!»! Можно ли этотъ кличъ назвать фанатическимъ воззваніемъ? Слова: «нутко» и другія не вяжутся съ обычнымъ гробовымъ стилемъ фанатизма. Это скорѣе крикъ рабочаго, зовущаго другихъ рабочихъ поднять совокупными силами какую-нибудь тяжесть. То же самое должно сказать и о слѣдующей рѣчи: «Безумная душа! нутко опрянься, исповѣждь Христа явственнѣ. Полно украшати! Инаго времени долго такого ждаты: само царство небесное въ ротъ валится, а ты откладываешь». Повсюду въ Аввакумѣ проглядываетъ живой человѣкъ и портитъ цѣльность мистически-вдохновеннаго образа непризваннаго пророка, въ родѣ Томаса Мюнцера и другихъ подобныхъ личностей.

Сверхъ того, у Аввакума не было прямолинейности требованій, которая характеризуетъ точку зрѣнія настоя-

щаго фанатика. Онъ не требоваль отъ своихъ сторонниковъ движенія напроломъ и безъ оглядки. Онъ училъ «не отрицатися, но и не наскакивать на напасти». Его девизомъ было: «не наскочи, ни отскочи». Для насъ становится совершенно яснымъ взглядъ Аввакума на дѣло, когда мы читаемъ его совѣты своимъ сторонникамъ, какъ обращаться съ священниками никоніанами: «А съ водою, какъ онъ придетъ въ домъ твой и въ дому бывъ водою намочить, и ты послѣ его вымети метлою; а ребятамъ вели по запечью отъ него спрятаться, а самъ съ женою ходи тутъ и виномъ его пой, а самъ говори: «прости, бачко, нечнетъ, не достойны ко кресту». Онъ кропитъ, а ты рожу въ уголь вороти или въ мошну въ тѣ поры полѣзь, да деньги его добывай. А жена за домашними дѣлами поди, да говори ему: «бачко, какой ты человекъ! Аль по своей попадѣ не разумѣешь? Не время мнѣ». Да какъ-нибудь и отживите его». Какъ бы кто ни относился къ этой жанровой картинкѣ, всякій однакоже согласится съ тѣмъ, что она не могла возникнуть подь перомъ настоящаго фанатика.

Наконецъ, взоръ Аввакума, не прикованный къ одной точкѣ, не ослѣпленный маніей, умѣлъ находить и понимать въ окружающемъ мірѣ красоту и величіе природы. Суровый расколоучитель любилъ природу, какъ въ самыхъ мелкихъ ея деталяхъ, такъ и въ ея широкихъ, величавыхъ ландшафтахъ. Вспомнимъ для примѣра еще разъ исторію съ упомянутой выше сибирской курочкой. Говоря о ней, Аввакумъ съ умиленіемъ рассказываетъ, какъ, въ дни бѣдствій его съ семействомъ въ Сибири, эта курочка вмѣстѣ съ ними клевала изъ котла сосновую кашку, а прилучится рыбка, и рыбку клевала. Этотъ рассказъ не отзывается у протопопа притворной слащавостью, такъ какъ Аввакумъ тутъ же прибавляетъ, что эта курица «взамѣнъ того давала имъ по два яичка на день». И мы ясно видимъ, что позади воспоминаній объ этомъ, въ мысли Аввакума стоитъ горькая память о плачущихъ дѣ-

тяхъ, объ изнеможенной женѣ, о скрытыхъ мукахъ собственнаго голода. Эпизодъ оканчивается религіознымъ синтезомъ: «Слава Богу,—говоритъ Аввакумъ, сотворившему все благое. Богу все надобно: и скотинка, и птичка, во славу Его прѣчистаго Владыки и человѣка ради».

Еще болѣе рельефный примѣръ чувства природы даетъ описаніе Аввакума тѣхъ впечатлѣній, которыя произвело на него озеро Байкаль. Сжатыми и сильными чертами рисуетъ онъ красоту мѣста, прихотливыя очертанія горныхъ вершинъ, гдѣ чудятся «богодѣланныя» палаты, столбы, дворцы и ворота, могучую растительность, сочныя травы и благовонныя цвѣты; воздухъ, оглашаемый пѣніемъ птицъ; озеро съ бѣлѣющими, точно снѣгъ, вереницами гусей и лебедей; обиліе рыбъ, стерлядей и сига, осетровъ и тайменей, настолько жирныхъ, что «нельзя жарить на сковородѣ: жиръ все будетъ». Такая роскошь и мирное приволье Божьяго міра, среди котораго поселенъ человѣкъ. Что же дѣлаетъ человѣкъ въ этомъ царствѣ гармоніи и уравновѣшенности природы? Человѣкъ,—говоритъ Аввакумъ,—«скачетъ, какъ козель; раздувается, какъ пузырь; злится, какъ рысь; съѣсть хочетъ, какъ змѣя; ржетъ, зря на чужую красоту, яко жребя, лукавствуетъ, какъ бѣсъ; пресыщается, спитъ безъ мѣры; не молится Богу; отлагаетъ покаяніе на старость и потомъ исчезаетъ. Когда отходить, не знаю,—или въ свѣтъ или въ тьму: день судный коегождо явится»... Въ такомъ любовномъ отношеніи Аввакума къ природѣ, сентиментализмъ парализуется струей реализма, и вся эта разносторонность, съ ея колоритной поэзіей и элементами вдумчивой прозы, завершается финальнымъ аккордомъ всепримиряющей религіозности.

Мы не будемъ продолжать дальше характеристику личности Аввакума. Оставивъ въ сторонѣ его печальныя богословскія заблужденія, мы видѣли въ образѣ знаменитаго протопопа богатырскую стойкость, блистающую сквозь оболочку героическаго терпѣнія, самокритику, не

исчезающую даже въ пароксизмахъ ярости, тонкій юморъ, свѣтящійся сквозь слезы, способность быть вдумчивымъ созерцателемъ природы, способность понимать тонкости человѣческой природы, умѣніе среди захватывающаго дѣла удѣлить уголь сердца семейнымъ заботамъ. Конечно, все это осталось въ нашемъ очеркѣ едва намѣченнымъ, недоговореннымъ. Но, чтобы исчерпать глубины человѣческой души, чтобы дать полное изображеніе человѣческой нравственной фізіономіи,—для этого нуженъ сильный талантъ. Будемъ же молить судьбу о ниспосланіи нашему отчеству могучихъ талантовъ, которые бы разгадали загадку русскаго сфинкса. Когда типичные и великіе предки наши, воскрешенные волшебнымъ жезломъ таланта, раскроютъ передъ нами свои завѣтные думы и побужденія, покажутъ тайники своихъ душъ и сердець, тогда начнется для насъ эпоха яснаго самосознанія и окончится время печальныхъ недоразумѣній, безмысленныхъ клеветъ и возмутительныхъ неправдъ.

VI.

Мы не можемъ разстаться съ Аввакумомъ, не упомянувъ о его женѣ. Правда, у насъ нѣтъ обильныхъ матеріаловъ для возсозданія семейной жизни протопопа, у насъ есть только нѣсколько фактовъ, нѣсколько сценъ и словъ, мимоходомъ оброненныхъ Аввакумомъ въ его писаніяхъ. Но, къ счастью, эти отрывочныя черты настолько ярки и выразительны, что изъ нихъ слагается довольно рельефный образъ.

Настасья Марковна была дочерью богатаго купца, послѣ смерти котораго, однакоже, не уцѣлѣло никакого имущества. Молодой дѣвушкой она сочеталась брачными узами съ юношей Аввакумомъ и съ того времени сдѣлалась вѣрной спутницей его жизни. Карьера Аввакума—діакона, священника, протопопа, расколуучителя, ссыльнаго, узника,—отражается всецѣло и въ судьбѣ его жены. Она пере-

живаешь вмѣстѣ съ Аввакумомъ бѣдствія первой эпохи его жизни; она присутствуетъ при насиліяхъ, совершаемыхъ воеводами надъ мужемъ, она слѣдуетъ за нимъ съ мѣста на мѣсто въ его изгнаніяхъ. Случалось, что, едва родивъ младенца и подхвативъ его, еще не крещенаго, она поспѣшала за мужемъ, бѣжавшимъ отъ преслѣдованій. Только изрѣдка не удавалось ей съ дѣтьми поспѣвать за протопопомъ и тогда Аввакумъ съ тревогой думалъ: «невѣдомо живы, невѣдомо прибиты»!...

Какъ мы видѣли выше, Аввакумъ, возставшій противъ Никона, сосланъ былъ за тридевять земель, въ далекую Сибирь. Гдѣ же была въ это время Настасья Марковна? А все же тутъ, вмѣстѣ съ мужемъ. Тогда она только-что родила и ее везли въ телѣгѣ до Тобольска. Долго продолжалось это путешествіе: три тысячи верстъ тринадцать недѣль волокли телѣгами и водою, и половину пути въ саняхъ. А затѣмъ послѣдовали новыя тысячи верстъ въ Даурію. Приходилось ѣхать водою, бури трепали дощеники, и Настасья Марковна не разъ, простоволосая, спасала дѣтей, вытаскивая ихъ на палубу изъ заливаемой внутренности плохаго судна. Случалось идти и волокомъ, босыми ногами по острымъ камнямъ, перебиваясь кореньями, подъ дождемъ и вѣтромъ. Протопопица на этомъ скорбномъ пути отдавала одежду, разставалась съ своей послѣдней одной рядкой, чтобы пріобрѣсти семейству немного муки. Но никакія жертвы не помогали: маленькія дѣти умирали отъ голода на рукахъ изнеможенной матери, которая принуждена была посылать свою старшую дѣвочку просить подаенія подъ окнами, не дастъ ли кто четверть пуда хлѣба, или гривенку-другую, или хотя бы курова корма изъ корыта. «Охъ времени тому»! вспоминаетъ обо всемъ этомъ Аввакумъ. Мы уже не говоримъ о томъ, что должна была чувствовать жена, видя нещадные побои, наносимые мужу, видя сцены, послѣ которыхъ у протопопа кости щемили, распухали жилы и сердце билось предсмертнымъ перебоемъ...

Картины бѣдствій Аввакума проносятся передъ нами безконечной вереницей. Видимъ мы протопопа въ мрачное осеннее лѣто подъ нависшими темными облаками сѣвернаго неба, въ избушкѣ съ протекающей крышей. Аввакумъ лежитъ на печи, нагой подъ берестомъ, вздрагивая отъ промозглаго холода. Гдѣ же въ это время Настасья Марковна? А все же тутъ: она примостилась къ печи, и дѣти здѣсь же кое-гдѣ. Или видимъ мы протопопа, шагающаго по льду рѣки съ обозомъ. Жена его плетется съ нимъ. Долго идутъ они. Протопопица бредеть-бредеть, да и повалится на скользкомъ льду. Какъ-то разъ упала она, а на нее повалился одинъ изъ шедшихъ возлѣ людей. Оба кричатъ, а встать не могутъ. Человѣкъ кричитъ: «Матушка, прости!» А протопопица въ свою очередь: «Что ты, батько, меня задавилъ!» Подошелъ Аввакумъ. Тутъ Настасья Марковна не выдержала, попеняла мужу: «Долго ли, протопопъ, муки эти будутъ?» Аввакумъ отвѣчалъ: «Марковна! до самой смерти». И что же? Не разразилась ли жена, при такомъ безотрадномъ отвѣтѣ мужа, проклятіями на горькую судьбу, на день своего рожденія, на злосчастныя узы своего брака? Нѣтъ, она вздохнула и промолвила: «Добро, Петровичъ, побредемъ же дальше»...

Отъ времени до времени Аввакумъ попадалъ въ заточеніе. Жена и тутъ не отставала отъ мужа. Она хотя и въ другомъ мѣстѣ, но также сидѣла «въ землѣ закопана», т. е. въ мрачной тюрьмѣ, ушедшей въ землю. И Аввакумъ шутилъ, глотая слезы: «У меня Марковна сидитъ себѣ въ землѣ съ дѣтьми, будто въ клѣткѣ».

Подъ трогательной внѣшней солидарностью между супругами существовала крѣпкая душевная связь. Суровый Аввакумъ глубоко любилъ свою Марковну; всякое воспоминаніе о ней согрѣто у него никогда не остывавшею сердечною ласкою. Кромѣ любви къ женѣ, у этого богатыря Домостроевской эпохи было еще и уваженіе къ ней. Однажды въ Москвѣ, послѣ горячаго спора съ «фи-

лософами» у Ртищева, Аввакумъ вернулся домой очень раздосадованный и опечаленный. А тутъ протопоница не поладила изъ-за какихъ-то пустяковъ съ одною изъ домашнихъ женщинъ, и началась у нихъ перебранка. Не стерпѣвъ Аввакумъ, оскорбилъ ихъ, обѣихъ прибилъ. Но, сорвавши, по слабости человѣческой гнѣвъ, протопопъ почувствовалъ раскаяніе. Въ его душѣ поднялось мучительное сознание нехорошаго поступка. Полежалъ протопопъ, собрался съ совѣстью и пошелъ искать жену. Найдя ее, онъ сталъ со слезами просить прощенія и поклонился ей въ ноги, говоря: «согрѣшилъ, Настасья Марковна! прости меня грѣшнаго!» Жена въ отвѣтъ также ему поклонилась... Конечно, въ настоящее время супружескія отношенія, вѣроятно, возвышеннѣе; нравственная эволюція не могла же не поднять за два вѣка моральный строй брачной жизни. Тѣмъ не менѣе, приведенная живая сцена все-таки должна внушить осторожность строгимъ критикамъ русскаго «семейнаго варварства» эпохи Домостроя.

Но это еще не все. Аввакумъ не только любилъ и уважалъ жену, онъ еще совѣтовался съ ней. Въ затруднительныхъ случаяхъ, въ моменты нерѣшительности, онъ не разъ устремлялъ на нее вопросительный взоръ. Такъ, напр., въ одинъ изъ кризисовъ своей жизни, Аввакумъ томился въ недоумѣніи. Онъ сидѣлъ грустный, размышляя о томъ, какъ ему быть? Продолжать ли свою борьбу, или, какъ человѣку, обремененному семьей, сойти съ поля битвы, скрыться? И вотъ, видя грусть Аввакума, Настасья Марковна подошла къ нему «со опрятствомъ» и спросила: «Что печалить тебя?» Протопопъ отвѣчалъ подробнымъ изложеніемъ обстоятельствъ. «Жена», — сказалъ онъ, — «что мнѣ дѣлать? Зима еретическая на дворѣ, — говорить ли мнѣ или молчать? Связали вы меня». Тогда протопоница, — уже побывавшая въ Сибири и въ Дауріи, уже испытывавшая нужду и голодъ, уже державшая на рукахъ дѣтей, которыя умирали въ судоро-

гахъ голода,—поспѣшно и рѣшительно отвѣчала: «Господи помилуй, что ты говоришь, Петровичъ! Я съ дѣтьми благословляю тебя, дерзай дѣлать свое дѣло по-прежнему, а о насъ не тужи, пока Богъ даетъ намъ жизнь. Потомъ же не забывай насъ въ своихъ молитвахъ. Силенъ Христосъ и не покинетъ насъ. Поди, поди въ церковь, Петровичъ!»

Такова величавая энергія жены, матери и женщины, съ которою мы встрѣчаемся неожиданно тамъ, гдѣ привыкли полагать только тьму семейнаго гнета и душную атмосферу теремовъ.

Мы опускаемъ завѣсу надъ яркой картиной нашей старины и останавливаемся въ раздумьи, дѣйствительно ли такъ «живали наши дѣды», какъ объ этомъ поется въ «Аскольдовой могилѣ», со сценами которой иногда имѣють столь много общаго циркулирующія въ обществѣ представленія о русской исторіи.

Казакъ XVI вѣка.

I.

Весьма важная роль въ человѣческомъ обществѣ принадлежитъ какъ-называемой «предвзятой мысли». Хотя значеніе ея не бьетъ въ глаза, но тѣмъ не менѣе она несомнѣнно относится къ тѣмъ вреднымъ «идоламъ», съ которыми нѣкогда сражался Бэконъ. Благодаря предвзятымъ идеямъ, мы часто замѣняемъ реальные факты, вещи и лица продуктами нашего воображенія. Дѣйствительность исчезаетъ, уступая мѣсто галлюцинаціямъ или грезамъ поэта. Наша предвзятая мысль, направленная на насъ самихъ, заслоняетъ отъ нашего сознанія и собственную нашу личность. И вотъ, мы оказываемся вполнѣ въ фантастическомъ царствѣ, населенномъ странными призраками и причудливыми видѣніями. Но видѣть не то, что есть, значитъ въ нѣкоторомъ смыслѣ ничего не видѣть; слѣдовательно, предвзятыя идеи дѣлаютъ людей слѣпыми.

Мы коснемся одной изъ крупныхъ и распространенныхъ «предвзятыхъ идей» относительно коренныхъ психическихъ свойствъ русскаго человѣка.

Съ давнихъ поръ существовало мнѣніе, что славянскому племени вообще свойствененъ исключительно земледѣльческій складъ жизни и что славяне, по самой природѣ своей, земледѣльцы, съ присущими этому быту чертами—крѣпкою осѣдлостью, кротостью и терпѣніемъ. Многіе ученые и неученые люди утверждали, что славянскому племени самую природой внушено непреодоли-

мое влеченіе къ сельскому хозяйству и что славяне постоянно искали единственно земли, съ цѣлью сдѣлать ее плодородною. Во многихъ книгахъ можно прочитатъ будто склонность къ земледѣлію составляла основу всей добродѣтели славянъ и будто съ такою склонностью вышли народы этого племени изъ первобытныхъ своихъ жилищъ и навсегда остались ей вѣрны, сосредоточивъ всѣ свои заботы и думы на умноженіи продуктовъ земли.

Эти взгляды на общеславянское племя были перенесены и на вѣтвь его, на русскій народъ. Такимъ образомъ составилось весьма распространенное мнѣніе, по которому русскіе оказались прирожденными, всецѣлыми и исключительными земледѣльцами. Отсюда возникла очень опредѣленная, категорическая и упрощенная точка зрѣнія на свойства и нужды нашего народа. Всѣ сомнѣнія разомъ исчезли, и всѣ вопросы получили полное рѣшеніе. Что такое русскій народъ?—Земледѣлецъ. Что дѣлаетъ русскій народъ?—Пашетъ землю. Что составляетъ предметъ завѣтныхъ стремленій русскаго челоувѣка?—Земля. Гдѣ источникъ несчастій нашего народа?—Малоземелье. Всѣ недоразумѣнія этимъ путемъ устраняются; всякому становится понятно, чѣмъ можно помочь народу, чѣмъ можно обрадовать и огорчить его. Очерчивается разъ навсегда точный циклъ заботъ, внѣ которыхъ излишни всѣ другія тревоги, надежды и опасенія.

Конечно, земля,—великое дѣло, малоземелье—крупное неудобство, а земледѣліе почтенное занятіе. Всѣ эти важные предметы налагаютъ серьезныя обязанности и на общественное вниманіе, и на государственную дѣятельность. Однакоже, исключительное приурочиваніе народа къ одному дѣлу, помѣщеніе всѣхъ народныхъ силъ и свойствъ въ узкіе предѣлы сельскаго хозяйства, отождествленіе челоувѣка съ земледѣльцемъ, скрытое сомнѣніе въ способности народа жить «не о единомъ хлѣбѣ»,—во всемъ этомъ русское сердце не можетъ не чувствовать

обида и униженія. Вотъ почему указанная предвзятая мысль должна быть подвергнута строгой критикѣ. Дѣйствительно ли русскій человѣкъ есть лишь одушевленная принадлежность земли? Правда ли, что русская мысль и чувство прикованы къ сохѣ и неспособны подниматься въ высь и въ ширь кипучаго многообразія Божьяго міра? Можетъ-быть, все это только невѣрные предположенія; можетъ-быть, русская душа отнюдь не укладывается въ рамки сельской пасторали, и воздѣлываніе почвы составляетъ лишь одну изъ дѣятельностей, и даже не самую излюбленную, нашего народа? Къ чему тогда сведется упомянутая предвзятая мысль, и какъ исчислить въ такомъ случаѣ всѣ неправды, ошибки и разочарованія, которыя могутъ и должны проистекать изъ практическаго реализованія неосновательной презумпціи?

Въ современной литературѣ самымъ яркимъ представителемъ разсматриваемой идеи является Г. Успенскій, чрезъ всѣ сочиненія котораго проходитъ убѣжденіе въ безграничной «власти земли» надъ русскимъ народомъ. «Народъ, говоритъ этотъ даровитый, но часто односторонній писатель,—до тѣхъ поръ сохраняетъ свой могучій и кроткій типъ, пока надъ нимъ паритъ власть земли. Оторвите крестьянина отъ земли, отъ тѣхъ заботъ, которыя она налагаетъ на него, отъ тѣхъ интересовъ, которыми она волнуетъ его,—и нѣтъ этого народа, нѣтъ народнаго міросозерцанія, нѣтъ тепла, которое идетъ отъ него... Ни въ какой иной сферѣ, кромѣ сферы земледѣльческаго труда, мысль крестьянина такъ не смѣла, такъ не напряжена, какъ именно здѣсь, гдѣ соха, борона, овцы, куры и т. д. Внѣ этого онъ ничего не знаетъ, ничемъ не интересуется». Развивая свою мысль, писатель даже утверждаетъ, что «народъ почерпаетъ свою мораль отъ природы, изъ непосредственныхъ указаній и велѣній природы, съ которою человѣкъ имѣетъ постоянное отношеніе въ земледѣльческой жизни».

Но всякому понятно, что слово мораль здѣсь поставлено напрасно. Всѣмъ извѣстно, что природа, въ истинно-научномъ смыслѣ, какъ совокупность явленій, законообразно сосуществующихъ и слѣдующихъ другъ за другомъ, не заключаетъ въ себѣ ничего ни нравственного, ни безнравственного; природа не даетъ человѣку никакихъ этическихъ «велѣній», и потому люди не могутъ воспринимать отъ нея готовыхъ нормъ. Всѣ эти «велѣнія» и «указанія природы» — только метафоры, которыхъ ложь и вредъ прекрасно были обнаружены еще знаменитымъ авторомъ «Анархическихъ софизмовъ». Въ складѣ земледѣльческаго труда, какъ и всякаго другаго, есть извѣстная логика; такъ, напримѣръ, обрабатывая поле, мы должны сообразоваться съ почвой, съ временами года и пр. Но изъ этой логики вытекаютъ техническіе приемы, а не нравственныя заповѣди. Усвоивая логику дѣла, человѣкъ становится благоразумнымъ земледѣльцемъ или скотоводомъ, моральные же принципы и критеріи стоятъ выше; они получаютъ изъ душевнаго построенія и усвоенія людьми идеаловъ «хорошаго человѣка» и «хорошей, должной жизни». Нельзя отрицать, что въ нравственное творчество народа входятъ, вмѣстѣ съ другими матеріалами, и условія преобладающей формы труда. Но не нужно преувеличивать значенія фактовъ. Быть-можетъ, свойства пищи, потребляемой человѣкомъ, вліяютъ на его нравственный міръ, но никто не станетъ серьезно искать въ анализѣ ея конечнаго рѣшенія этическихъ проблемъ. Точно также нельзя отождествлять моральные идеалы русскаго народа съ образомъ аккуратнаго и предусмотрительнаго сельскаго хозяина. Самъ Г. Успенскій, въ ущербъ цѣльности своихъ разсужденій, вводитъ въ святую святыхъ народной души совсѣмъ иные предметы почитанія, — образы «угодника» и «человѣка Божія».

Земля, конечно, не остается въ сторонѣ въ дѣлѣ духовнаго народнаго творчества. Стѣбитъ лишь вспомнить

тѣ прекрасныя цвѣты, которые возвращены на ней народною поэзіей. Подъ живительною теплотою русскаго сердца, скромныя родныя поля обратились въ благоуханную арену, гдѣ пахарь, въ любовномъ союзѣ съ «сивкою», совершаетъ свои подвиги, и гдѣ витязь-косарь «гуляетъ» съ косою. Однако, кромѣ поэзіи земледѣльческаго труда, мы имѣемъ поэзію и другихъ родовъ труда, другихъ формъ существованія. Наше творчество не исчерпывается темами сельскаго хозяйства. Да и самое обиліе поэзіи, проникающей у насъ деревенскій бытъ, свидѣтельствуешь не столько о полномъ подчиненіи человѣка власти земли, сколько наоборотъ, о порываніяхъ его изъ узкихъ межъ воздѣлываемой нивы. Истинный дѣлецъ-хозяинъ, англійскій фермеръ или нѣмецкій колонистъ, ведетъ прямую линію трезваго расчета, чуждаясь всякихъ поэтическихъ фантазій. Онъ называетъ предметы ихъ точными именами, безъ метафоръ и гиперболъ; все земледѣліе въ его рукахъ слагается изъ ряда здравыхъ мѣръ и усилий, завершающихся тою или иною цифрой итога. Съ точки зрѣнія такого дѣльца, наша деревня фантазируетъ, одѣваетъ голую прозу труда пестрымъ узоромъ воображенія и простыя сельско-хозяйственныя мѣропріятія, въ родѣ найма пастуха или дѣлежа покоса, обращаетъ въ ненужныя драматическія представленія. Но не говорятъ ли всѣ эти фантазіи и представленія именно о томъ, что душа русской деревни не уходитъ цѣликомъ въ хлѣбопашество, не склоняется подъ игомъ земли, а поднимается надъ нею и ищетъ болѣе широкихъ горизонтовъ?

Самая неподвижность русскаго хозяйства, эта неизмѣнная, переживающая столѣтія соха, составляетъ немалую загадку, которую можно рѣшить однимъ изъ двухъ предположеній. Или косная жизнь деревни есть какъ бы жизнь на бивуакѣ, гдѣ люди чувствуютъ себя на временномъ становищѣ; хотя бы это временное пребываніе длилось вѣка, все же люди здѣсь отвлекаются отъ настоящаго смутнымъ чаяніемъ будущаго и вѣчною готовностью

двинутся куда-то дальше. Или же малый прогрессъ русскаго земледѣлія обусловливается бездарностью нашего крестьянина. Но послѣднее предположеніе опровергается всѣмъ извѣстными фактами. Исторія и современность видѣли и видятъ этого крестьянина въ самыхъ разнообразныхъ условіяхъ существованія, которымъ онъ умѣетъ придать опредѣленный смыслъ и оригинальное душевное озареніе. Среди обстоятельствъ, не имѣющихъ ничего общаго съ привычною тишью и гладью роднаго села, русскій человѣкъ обнаруживаетъ стойкое мужество и замѣчательную ловкость приспособленія.

Не такъ давно одинъ изъ нашихъ соотечественниковъ, посѣтившій степи Сѣверной Америки, описывалъ своеобразную жизнь той страны и интересный классъ мѣстнаго населенія, извѣстный подъ именемъ «вачеро». Вачеро—работіе степнаго хозяйства и торговли; они сопровождаютъ караваны, стерегутъ жилые, стада и пр. Всѣ эти важныя обязанности они несутъ среди постоянной угрозы нападенія индѣйцевъ и разбойниковъ; никто изъ нихъ, ложась вечеромъ, не знаетъ навѣрно, встанетъ ли благополучно утромъ или потеряетъ скальпъ. Жизнь трудная, требующая много ловкости, такта и сметливой храбрости. И вотъ оказывается, что лучшая репутація между разноплеменной массой вачеро принадлежитъ русскимъ. Выходцы изъ Восточной Сибири, бѣглецы изъ ссыльныхъ, появляясь въ преріяхъ, берутся за тяжелый трудъ. Очувившись въ обстановкѣ, совершенно отличной отъ далекаго роднаго края, русскій вачеро быстро примѣняется къ мѣсту, работаетъ, богатѣетъ, строитъ собственный блокгаузъ. Во все это время онъ обнаруживаетъ много такта въ мѣнновой торговлѣ, въ отношеніяхъ къ туземцамъ, съ которыми не обращается жестоко, какъ другіе европейцы, а умѣетъ потолковать за трубкою мира по душѣ, что не мѣшаетъ ему обнаруживать упорное мужество, когда приходится постоять за себя,—мужество дѣловитое, безъ эффектовъ и кроваваго драма-

тизма. Въ результатѣ получается, что заѣзжій путешественникъ можетъ гордиться русскимъ именемъ, которое прославлено здѣсь скромными соотечественниками—вачеро. Нѣтъ сомнѣнїя, что подобные факты не дозволяютъ признать нашего крестьянина тупымъ рабомъ окаменѣлаго, разъ на всегда сложившагося быта.

Г. Успенскій говоритъ, что русскій крестьянинъ, внѣ земледѣлства, ничего не знаетъ и ничемъ не интересуется: онъ не разбираетъ, что такое урядникъ или непремѣнный членъ, считая все это ненужными подробностями. Надо думать, однакоже, что такой индифферентизмъ не есть результатъ умственной ограниченности крестьянина или его подавленности властью земли. Онъ не вдумывается въ существо разныхъ «членовъ» и «присутствій» потому, что во всѣхъ этихъ искусственныхъ, разноименныхъ, видоизмѣняющихся деталяхъ для него всегда одинъ и тотъ же смыслъ. Но русскій человекъ не чуждъ политическихъ способностей, которыя не разъ имъ были обнаружены среди трудныхъ историческихъ моментовъ или въ случаяхъ, когда приходилось жить и дѣйствовать по собственному разумѣнїю. Вспомнимъ, напримѣръ, великую, трагическую эпоху междуцарствїя. Вспомнимъ также своеобразную жизнь Запорожья, гдѣ, сквозь наружную оболочку своеволїя, просвѣчивала способность дружнаго согражданства и умѣнїе справиться съ такими сложными дѣлами, какъ защита прїобрѣтенныхъ правъ и вѣры предковъ отъ вражескихъ насилїй и отъ безчинства польскихъ утѣснителей.

Само-собою разумѣется, если мы увѣруемъ въ спеціально земледѣльческую ограниченность русскаго народа, намъ нельзя будетъ отрѣшиться отъ страха за будущее, когда цивилизація начнетъ свои завоеванїя въ заколдованномъ царствѣ нашихъ деревень. Пугливый взоръ сторонниковъ идеи о власти земли уже теперь замѣчаетъ угрожающїе симптомы во вторгающихся въ села «пиджакахъ, гармоникахъ, часахъ съ цѣпочкою» и пр.

Но всё эти страхи отходятъ въ сторону, лишь только мы становимся на болѣе широкую точку зрѣнія. Пресловутые «пиджакъ» и «гармоника» представляютъ собою только отблескъ изнанки нашей цивилизации. Это грязная пѣна прегрѣшеній современной европейской культуры. Брызги пѣны, правда, падаютъ на деревенскій людъ и производятъ въ немъ зараженія, но не въ силу какого-нибудь особеннаго сельско-хозяйственнаго міросозерцанія крестьянъ, а въ силу общихъ всѣмъ людямъ слабостей. Бѣда, знаменуемая «часами съ цѣпочкой», гораздо опаснѣе интеллигентному слою нашего общества, гдѣ зараза свирѣпствуетъ сильнѣе, поражая каждую минуту сотни юныхъ и не юныхъ жертвъ. Наблюдая «меньшихъ братьевъ», присутствующихъ при нашей жизни, приходится не столько скорбѣть о ихъ податливости, сколько удивляться ихъ нравственной стойкости. Въ комедіи гр. Л. Толстаго, одинъ изъ дѣйствующихъ въ ней мужиковъ восклицаетъ: «О, Господи! Въ этомъ краткомъ вздохѣ цѣлая поэма глубокаго содержанія... Въ народѣ много пороковъ, онъ покрытъ корою грубости и невѣжества, но въ немъ нѣтъ хроническаго безволія, моральнаго банкротства и душевной гнили. Вотъ почему нѣкоторые изъ современныхъ моралистовъ обращаютъ на него пытливыиъ взоръ, ожидая съ этой стороны въ будущемъ появления геркулесовъ, необходимыхъ для очищенія авгіевыхъ стоилъ загрязненнаго общежитія.

Г. Успенскій находитъ подтвержденіе своей мысли о власти земли въ извѣстной былинѣ, въ которой богатырь Святогоръ не можетъ догнать на конѣ прохожаго мужичка и не въ силахъ поднять съ земли его сумочки. «Что въ сумочкѣ?» спросилъ Святогоръ.—Тяга отъ матери сырой земли, отвѣчалъ прохожіиъ. «А ты самъ кто?»— Я Микула, мужикъ, меня любитъ мать сыра земля... Эта сцена встрѣчи эффектнаго героя военнаго дѣла съ скромнымъ представителемъ рабочей силы, дѣйствительно богата глубокимъ смысломъ. Но едва ли должно счи-

татъ былину символическимъ выраженіемъ вѣковаго порабощенія народа землею. Въ былевомъ разсказѣ Микула не прикованъ своею сумочкой къ мѣсту; «тяга земли» не сообщаетъ сказочному пахарю оцѣпенѣнія неподвижной осѣдлости. Микула не стоитъ на узкой полосѣ своего поля, а идетъ, и шагъ его опережаетъ богатырскаго коня. Микула въ дорогѣ, и, судя по быстротѣ его хода, онъ въ дальней дорогѣ. По тексту былины, онъ не мѣстный житель, а «прохожій». Куда же движется этотъ эпическій крестьянинъ? Съ современной точки зрѣнія, мы могли бы толковать былинную аллегорію самыми разнообразными предположеніями. Мы могли бы представить себѣ, въ лицѣ Микулы, и переселенца въ невѣдомую страну, и бѣглеца въ степи, въ вольное казачество, и богомольца, бредущаго ко святымъ мѣстамъ, и Ломоносова, томимаго жаждой умственного свѣта. Такія предположенія были бы одинаково законны, потому что русскому человѣку всѣ эти дороги достаточно извѣстны.

Русскій народъ, далекій отъ оконченія утрированной осѣдлости, обнаруживаетъ, наоборотъ, яркіе признаки замѣчательной подвижности. И въ самомъ дѣлѣ, едва ли гдѣ-нибудь населеніе представляетъ собою зрѣлище болѣе оживленнаго перемѣщенія и кочеванія. «Бродячая Русь» г. Максимова рисуетъ предъ нами поучительную картину непрерывной суеты громаднаго муравейника. Мы можемъ здѣсь наблюдать, какъ по всему необъятному пространству Россіи движутся, встрѣчаются и расходятся, спѣшатъ и плетутся, въ одиночку и группами, всевозможные кубраки, лабори, прошаки, запрошники, побирušки, погорѣльцы, богомолы, боголюбцы, нищebroды, калуны, калики. Но г. Максимовъ приподнимаетъ только край завѣсы. Къ его очерку великаго русскаго кочеванія нужно прибавить переходящія изъ края въ край страны артели плотниковъ, каменщиковъ, грабарей и пр., вереницы періодическихъ мѣстныхъ паломничествъ, многотысячныя толпы рабочихъ, переливающіяся каждую

весну и осень съ сѣвера на югъ и съ юга на сѣверъ; наконецъ, въ послѣднее время, неудержимый, широкій потокъ переселенія.

Едва ли можно объяснять переселенческое движеніе однѣми экономическими причинами. Правда, хозяйственныя бѣды въ средней полосѣ Россіи за послѣднее десятилѣтіе идутъ большими шагами геометрической прогрессіи. Но тѣмъ не менѣе, еслибы весь міръ крестьянина замыкался въ предѣлахъ пашни, то, конечно, онъ проявилъ бы болѣе энергіи въ борьбѣ съ невзгодами и болѣе усилій приспособиться къ новымъ обстоятельствамъ. Когда въ кораблѣ открывается течь, то матросы напрягаютъ всѣ силы на исправленіе судна, потому что съ нимъ неразрывно связана ихъ жизнь. Но населеніе нашихъ деревень встрѣчаетъ иначе свои крушенія. Оно обнаруживаетъ склонность охладѣвать къ землѣ, въ немъ пробуждается жажда вырваться на свободу, на широкій просторъ манящей дали. Такимъ образомъ переселеніе становится не расчетливою мѣной дурнаго на завѣдомо лучшее, а страстнымъ порывомъ эпидемическаго увлеченія, захватывающаго не только бѣдняковъ, но и вполне состоятельныя, даже богатыя семьи. Эмиграція въ Западной Европѣ сопровождается трогательными сценами разлуки съ родными полями. Западный эмигрантъ долго оборачивается на покидаемую землю и взоръ его туманится горькими слезами. Русскій переселенецъ снимается съ мѣста легче, тоска по быломъ у него быстро отбѣняется мечтательными гаданіями о будущемъ. Эта жажда не столько лучшаго, болѣе выгоднаго или полезнаго, сколько новаго и неизвѣданнаго составляетъ яркую черту духовной фizioноміи народа. Объ этой чертѣ, между прочимъ, упоминалъ не разъ Достоевскій. «Въ весеннее время, говоритъ онъ въ *Запискахъ изъ Мертваго Дома*,—по всей Сибири, какъ и по всей Россіи, съ первымъ жаворонкомъ, начинается позывъ къ движенію. Наступаютъ бѣгства съ поселенія. Казалось бы, и дово-

лень человекъ и обезпеченъ, а нѣтъ! все куда-то тянетъ, куда-то отзываетъ его. Жизнь вольная и полная приключеній имѣетъ что-то соблазнительное и смотришь—бѣжалъ человекъ, иной даже скромный, аккуратный, который уже общалъ сдѣлаться хорошимъ осѣдлымъ человекомъ и дѣльнымъ хозяиномъ. Иной даже женится, заводитъ дѣтей, долго живетъ на одномъ мѣстѣ, и вдругъ, въ одно прекрасное утро, исчезаетъ куда-то, оставляя въ недоумѣннп жену, дѣтей и волюсть, въ которой былъ приписанъ»...

Подвижность русскаго крестьянства не есть, какъ извѣстно, новое явленіе. Она имѣетъ долгую исторію въ прошломъ. Документы XV и XVI столѣтій полны указаній на постоянные переходы и бѣгства крестьянъ. Населеніе старо-русскихъ деревень постоянно проговаривалось намѣреніемъ «разбѣжаться врознь» и часто осуществляло это намѣреніе. Ученая литература (ср. Бѣляева, г. Соколовскаго, Соловьева и др.) даетъ много объясненій такого факта, въ ссылкахъ на экономическія и политическія условія жизни тѣхъ временъ; однакоже эти условія едва ли можно считать исчерпывающими мотивами явленія. Говорятъ, что къ оставленію земли крестьянъ часто побуждало истощеніе почвы и возростающая затруднительность ея обработки. Но почему же энергія земледѣльца не устремлялась на попытки интенсивнаго хозяйства, какъ это мы видимъ не только въ Западной Европѣ, но даже въ Китаѣ? Конечно, для этого требовался тяжелый трудъ, но переселенецъ не могъ рассчитывать на легкую работу, уходя на новое мѣсто, гдѣ предстояла расчистка дикой почвы, возведеніе новаго жилья и пр. Сверхъ того, при истощеніи старой пашни, ничто не мѣшало подвергнуть обработкѣ соседнюю полосу, ибо въ тѣ времена малоземелья не было.

Говорятъ, далѣе, будто крестьяне разбѣгались отъ лихихъ людей, отъ татей, отъ разбойниковъ. Но почему же деревни не вступали въ борьбу съ ними организаціей

самозащиты и суровымъ самосудомъ, какъ пионеры Америки? Утверждаютъ, затѣмъ, что переходы и побѣги происходили «отъ намѣстниковъ, отъ тиуповъ, отъ государевыхъ податей, отъ подводъ и отъ опричнаго правяжу». Но, во-первыхъ, тяжесть податей значительно обусловливалась именно побѣгами, сокращавшими число оставшихся плательщиковъ. Во-вторыхъ, указанный гнетъ долженъ былъ носить на себѣ характеръ случайности: онъ не былъ систематиченъ, такъ какъ правительство не имѣло тогда ни стройной организаціи властей, ни опредѣленнаго плана дѣйствій. Обитатели селъ поэтому не лишены были возможности ускользнуть отъ бѣды и защищаться отъ нея, ища, напримѣръ, покровительства у сильныхъ сосѣдей, какъ это практиковалось нѣкогда на Западѣ Европы. Но крестьяне предпочитали прямо сниматься съ мѣста и брести врознь. Просторъ страны открывалъ предъ ними поприще для бѣгства, для кочеванія и полуномадной колонизаціи. Костомаровъ видѣлъ въ этомъ движеніи простое слѣдованіе принципу: «рыба ищетъ гдѣ глубже, человѣкъ—гдѣ лучше». Но дѣйствительно ли бѣглецы и переселенцы шли сознательно на лучшее? Была ли въ нихъ увѣренность, что новое будетъ лучше стараго? Безъ сомнѣнія, нѣтъ. Тутъ не было расчета, трезвой обдуманности и здравыхъ вычислений. Здѣсь проявлялась главнымъ образомъ черта національнаго характера, о которой мы говорили выше. Въ каждомъ фактѣ передвиженія здѣсь трепетала народная душа, вырывавшаяся изъ узкихъ рамокъ сложившейся жизни и жаждавшая новыхъ впечатлѣній, дальнѣйшаго роста и болѣе широкихъ масштабовъ своего объективированія.

II.

Волнуемые такими душевными мотивами, люди покидали мѣста осѣлости и уходили, по большей части, на югъ, въ степи, къ берегамъ вольнаго Дона и широ-

кой Волги. Бѣглецовъ этихъ народъ называлъ казаками. На новыхъ мѣстахъ казаки соединялись въ общества, устраивали себѣ своеобразный складъ жизни, выбирали атамановъ и промышляли средства существованія, не чуждаясь предпріятій, въ которыхъ доблесть тѣсно переплеталась съ насиліемъ. Хотя исторія помнитъ много грѣховъ за казаками, однако ихъ нельзя считать лишь мутною накипью осѣдлой Руси. Бѣглецы далеко не всегда были неуживчивыми личностями, которымъ не пришлось по вкусу крестьянская работа, а хотѣлось питаться на счетъ чужаго труда. Ихъ жизнь была проникнута не столько лѣнностью и боязнью труда, сколько, наоборотъ, жадной дѣятельности, часто даже жадной подвига. Въ самыхъ грабежахъ своихъ по рѣкамъ и по Черному морю казаки являлись не профессиональными разбойниками, а удалцами, въ которыхъ богатый запасъ внутреннихъ и внѣшнихъ силъ искалъ исхода, и, не находя хорошаго, вырывался въ дурномъ. Такъ обильный водой весенній потокъ, не имѣя прямого русла, бьется и брызжетъ безпорядочнымъ каскадомъ.

Между атаманами XVI вѣка наибольшую извѣстность получилъ Ермакъ Тимофеевичъ. Народная память застаетъ его съ товарищами, Иваномъ Кольцо и другими, на Волгѣ, вѣроятно на Самарской лукѣ, гдѣ горы, покрытыя лѣсомъ и усѣянныя пещерами, представляли удобный наблюдательный постъ за проходящими по рѣкѣ караванами и укромные углы на случай преслѣдованія. Въ этой мѣстности до сихъ поръ существуютъ деревни, носящія названія Ермаковки и Кольцовки. Народныя пѣсни изображаютъ жизнь казаковъ самыми общими чертами разбойничьяго быта. Но даже въ этомъ простомъ рисункѣ, лишенномъ перспективы, свѣта и тѣней, можно различить интересные намеки. Знаменательно, что пѣсни не только даютъ намъ сцены безшабашнаго гульбища, съ чарками вина и пьянымъ смѣхомъ, сколько рисуютъ казаковъ «думающими думу, крѣпкую думу». Правда,

предметомъ этой думы нерѣдко бывали соблазнительные товары на басурманскихъ и государевыхъ корабляхъ. Но даже такія грабительскія предпріятія носили на себѣ особенный отгѣнокъ. Къ мотивамъ корысти присоединялись здѣсь мотивы молодечества, желаніе открыть выходъ богатому запасу душевной и физической энергіи. Жажда помѣриться силою съ морскою волной или погулять по синему простору моря тутъ часто какъ бы заслоняла прозаическую цѣль въ видѣ бѣлѣющаго паруса торговаго судна. Такимъ образомъ награбленныя драгоценности являлись здѣсь не добычей разбойничьяго ремесла, а призомъ удалой авантюры. Но «думушка» казацкая часто имѣла и другіе сюжеты. Въ ней нерѣдко сквозила тоска по настоящему, хорошему дѣлу, сокрушеніе о дурныхъ поступкахъ, страстное желаніе обратить энергію на полезный подвигъ. Казаки народныхъ пѣсенъ съ грустью восклицаютъ: «Намъ на Волгѣ жить, братцы, ворами слыть!» И они тяготеютъ такой репутаціей, безпокойно отыскивая иной предметъ для приложенія своей отваги. Предпринять ли какой-нибудь серьезный походъ? Обагрить ли мечъ въ крови враговъ Православія? Или послужить царю вѣрой и правдой? Они сами не знаютъ хорошенько, но тягостная сердечная тревога не покидаетъ ихъ. Быть-можетъ, инстинктивное чувство именно такого душевнаго состоянія выражается въ наивныхъ словахъ пѣсни:

Шатался, мотался Ермакъ сынъ Тимофеевичъ,
Онъ шатался, мотался по чисту полю,
По чисту полю, Ермакъ, да по синю морю...

Прекраснымъ выходомъ изъ положенія томительнаго «шатанія» послужило казакамъ движеніе вверхъ по Волгѣ и Камѣ, въ предѣлы новыхъ поселеній купцовъ Строгановыхъ. Данъ ли внѣшній толчекъ къ такому движенію приглашеніемъ Строгановыхъ, какъ говоритъ Сибирская лѣтопись, или преслѣдованіемъ со стороны царскихъ войскъ, по свидѣтельству Тобольскаго лѣтописца, какъ бы

то ни было, но мы видимъ Ермака съ атаманами и съ нѣсколькими стами воиновъ на службѣ у знаменитыхъ колонизаторовъ нашего сѣверо-востока. Въ этой мѣстности шла горячая работа. Тутъ расчищалась дикая почва, дѣлались первые опыты хлѣбныхъ посѣвовъ, вырабатывалась соль на многочисленныхъ варницахъ, производился торгъ съ инородцами, вымѣнивались дорогіе мѣха и пр. Казаки охраняли своимъ оружіемъ эту молодую культуру и сторожили государеву границу. Но дѣлая такое серьезное и почтенное дѣло, они не могли не бросать любопытныхъ взоровъ за рубежь, гдѣ жили полудружественныя, полувраждебныя племена инородцевъ, и дальше, гдѣ поднимались холмы Урала, заслоняя таинственною завѣсой сибирское царство Кучума. Что тамъ, за этими горами? Какое это царство? Какъ живутъ тамъ люди? Таковы были загадки, естественно манившія казаковъ и разжигавшія въ нихъ общерусскую страсть къ движенію впередъ, въ поискахъ за новыми впечатлѣніями, за жизнью и просторомъ горизонтовъ.

XVI столѣтіе и на Западѣ Европы проникнуто было страстью завоевательныхъ предпріятій. Только-что открытый Новый Свѣтъ привлекалъ къ себѣ толпы людей, отважно пускавшихся въ далекій путь. Но тамъ мотивы движенія вполне понятны. Америка была тогда романтической страной, которую рыцарское воображеніе населяло великанами волшебныхъ сказокъ и усыпало, какъ пескомъ, золотомъ и драгоцѣнными камнями. Вслѣдствіе этого, разумѣется, жажда наживы и приключеній волновала всѣ сердца. Всякій прожившійся гидальго спѣшилъ оставить отечество, воздухъ котораго былъ для него отравленъ неотступностью кредиторовъ; онъ отпраплялся черезъ океанъ, чтобы стать подъ знамя Кортеса или Пизарро, набить карманъ золотыми слитками и показать удалъ кастильскаго оружія въ странѣ ванили и какао, на поляхъ, цвѣтущихъ круглый годъ, среди рощъ, пестряющихъ на тропическомъ солнцѣ птицами, кото-

рых опереніе горитъ и переливается подобно рубинамъ, изумрудамъ и брилліантамъ.

Казаки Ермака не могли имѣть относительно Сибири особенно заманчивыхъ иллюзій, въ смыслѣ ожиданія обильной поживы. Обитатели Зауралья, которымъ случалось заходить въ поселки Строгановыхъ, не имѣли на себѣ ни розовыхъ вѣнковъ, ни золотомъ шитыхъ одеждъ, какъ жители Мексики. Правда, казаки могли рассчитывать на ясакъ, на „мягкую рухлядь“ (мѣха), могли ласкать свой аппетитъ предвкушеніемъ рыбы сибирскихъ рѣкъ. Но они прекрасно знали, что всѣ эти блага не лежатъ въ ожиданіи ихъ готовыми кучами, а потребуютъ для добыванія большой затраты силъ и крови. Такимъ образомъ, задумывая походъ въ Сибирь, казаки не стояли на почвѣ утилитарнаго принципа: человекъ ищетъ гдѣ лучше. Они созпательно выступали на путь лишеній и трудностей, повинувся своему внутреннему зуду движенія впередъ, вдаль и впирь.

Снарядившись и запасшись огнестрѣльнымъ оружіемъ, казаки успѣшно выполнили свою задачу. Относительно времени, употребленнаго на походъ, лѣтописныя свидѣтельства впадаютъ въ вопіющее разногласіе. Тамъ, гдѣ одни сказанія говорятъ о мѣсяцахъ, другія— о годахъ. Мы не будемъ входить въ хронологическіе споры, склоняясь въ пользу болѣе долгихъ сроковъ, такъ какъ путь Ермака былъ тяжелъ, незнаніе водораздѣловъ Оби и Зауралья неизбѣжно вело къ блужданіямъ, а продовольствованіе отряда являлось, конечно, дѣломъ очень труднымъ.

Въ нагруженныхъ до верху лодкахъ будущіе завоеватели тронулись вверхъ по Чусовой, среди мертвой, каменной мѣстности и необъятнаго нѣмага безлюдія. Путь требовалъ большаго напряженія силъ. Приходилось бороться съ быстрымъ теченіемъ, къ которому прибавилось на слѣдующей рѣкѣ, Серебрянкѣ, мелководье. Хрустально-чистая вода рѣки ласкала взоръ серебрянымъ отливомъ, но лодки часто касались дна; нужно

было устраивать нѣчто въ родѣ запрудъ, каждый шагъ стоилъ много трудового пота. Такимъ образомъ медленно двигался казацкій отрядъ, останавливаясь, отыскивая дорогу, сооружая земляные городки, перетаскиваясь волокомъ, сплаваясь на плотахъ и устраивая новыя лодки, взамѣнъ брошенныхъ позади. Казаки шли какъ бы большою рабочею артелью, съ трезвою дѣловитостью и упорствомъ преодолевая препятствія. Въ этомъ походѣ ничто не напоминало ни буйную ватагу гулякъ, ни страстный наѣздъ завоевателей Америки. Лица казаковъ не горѣли нетерпѣніемъ поскорѣ завладѣть сокровищами Монтезумы или золотыми блюдами Атагуальны. Въмѣсто горячаго порыва авантюристовъ, нашъ отрядъ являлъ въ себѣ инныя черты. Это была скорѣ благочестивая рать, съ иконами на стругахъ и съ клятвенными обѣтами запорожскаго ригоризма къ человѣческимъ слабостямъ. Медленное, но неуклонное движеніе казаковъ носило на себѣ тотъ своеобразный, меланхолическій характеръ, которымъ отличалось движеніе («на долгихъ») по тысячеверстнымъ дорогамъ старой Руси и который еще недавно можно было наблюдать въ воспѣтыхъ стихами и прозою украинскихъ обозахъ. Быть-можетъ, картина подобнаго движенія способна вызывать досаду у нетерпѣливаго зрителя. Мы не станемъ спорить противъ обвиненій въ флегматичности, но скажемъ, что изъ-за видимой вялости тутъ явственно сквозила упорная настойчивость, поселяющая въ наблюдателя вѣру, что путь будетъ оконченъ и дѣло завершится концомъ. Ермакъ и его товарищи, дѣйствительно, обнаруживали малую способность, взвѣшивать часы и минуты цѣною денегъ. Но съ этимъ надо примириться. Сибирскіе завоеватели были русскіе люди, то-есть люди народа, котораго жизнь, кажется, рассчитана на тысячелѣтія и который усвоилъ себѣ привычку мѣрять время вѣками...

Изъ мелкихъ верховій Обскаго бассейна казаки спустились, наконецъ, въ Туру, гдѣ обиліе воды давало лодкамъ

болѣе удобствъ. „Ту бѣ и сибирская страна“ говорить лѣтописецъ. Дѣйствительно, здѣсь казаки должны были почувствовать себя въ лонѣ новаго, невиданнаго края. Ихъ обступилъ, охватилъ и поглотилъ сибирскій лѣсъ, ничѣмъ не похожій на волжскія рощи и на русскія дубравы. Могучею колоннадой сосенъ и пихтъ потянулся онъ по берегамъ рѣки. Темныя иглы хвойныхъ породъ перемежались съ свѣтлою, трепещущею листвою березы и осины. Снизу стройныя, какъ стрѣлы, стволы были увиты и перепутаны кустами богульника, а ползучая зелень дикаго хмѣля взбѣгала вверхъ и нависала съ вѣтвей густыми гирляндами. Повсюду глушь, темныя тѣни и таинственно чернѣющія ниши. Лѣсъ часто высился надъ рѣкою уступами, и чѣмъ дальше, тѣмъ выше поднимались деревья; на горизонтѣ величаво очерчивались вершины гигантскихъ, тридцатисаженныхъ кедровъ. Кое-гдѣ чаша разступалась, и въ просвѣтѣ сверкало озеро или зеленая лужайка; подъ красивымъ дерномъ этихъ лужаекъ таились зыбуны, коварныя топи, готовыя всосать неосторожнаго, который бы увлекся наружною прелестью живаго ковра. Иногда деревья подходили къ самой водѣ, простирали вѣтви, нависали зеленымъ сводомъ на цѣлыя версты, и казацкіе струги тихо плыли подъ этимъ шатромъ, едва нарушая окружавшую ихъ торжественную тишину.

Мѣста, по которымъ двигались наши путники, не были ландшафтомъ побѣжденной и ручной природы. Тутъ природа красовалась на волѣ, какъ бы не зная человѣка и не желая знать о немъ. Здѣсь она была у себя дома, свободно дышала своимъ могучимъ дыханіемъ, дѣлала свое дѣло, погружалась въ величавое молчаніе или пѣла, подъ порывами вѣтра, свою стихійную пѣсню, тысячеверстнымъ стономъ тайги. Подобныя мѣста производятъ сильное дѣйствіе даже на культурнаго человѣка: окружающая ширь и мощь вырываютъ его изъ привычной атмосферы житейской мелочи, сообщаютъ ему пра-

вильность точекъ зрѣнія и будятъ въ его сердцѣ серьезныя струны, которыя молчатъ и ржавѣютъ въ душевной суетѣ людскаго общежитія. Но, конечно, еще сильнѣе впечатлѣніе, получаемое здѣсь свѣжимъ человѣкомъ, сыномъ природы, еще не вполне отдѣлившимся отъ ея родительскаго дома.

Тишина и безмолвіе составляютъ преобладающее состояніе сибирской тайги, но эта тишина не тишина смерти. Въ кажущемся оцѣпенѣніи лѣсной глуши совершается неустанная работа, происходитъ непрерывное творчество природы. И человѣкъ, составляющій самъ часть природы, обладаетъ способностью—таинственной и необъяснимою—чувствовать это недоступное ни глазу, ни уху, творчество. Сказочное выраженіе: „слышать ростъ травы“ намекаетъ именно на такую способность человѣка. Вотъ почему самыя непроходимыя дебри не пугаютъ людей зияющею пустотой могилы, а, напротивъ, манятъ къ себѣ своеобразнымъ очарованіемъ, которымъ бились и сердца товарищей Ермака.

Но кромѣ ощущенія такого незримаго дыханія самой тайги, казаки не могли не замѣчать въ дремучихъ лѣсахъ, среди которыхъ плыли, обильнаго живаго населенія. Съ береговъ доносились до нихъ самыя разнообразныя звуки, начиная отъ шелеста извивавшихся змѣй и птичьяго щелета, до громкаго треска валежника подъ тяжелою поступью медвѣдя. Передъ глазами путниковъ часто мелькали то прыгающія по сучьямъ бѣлки, то соболь, качающійся на вѣтвяхъ березы, то уродливая голова лося, съ закинутыми назадъ узловатыми рогами. Каждый изгибъ рѣки давалъ казакамъ новую картину въ длинной лентѣ безконечной панорамы. Одинъ и тотъ же мотивъ здѣсь варьировался на тысячу ладовъ и былъ такъ же далекъ отъ однообразія, какъ улыбки одного и того же милаго лица. Постоянно разступавшаяся даль, вѣчная смѣна живыхъ впечатлѣній, поминутное возбужденіе и удовлетвореніе любопытства, непрерывное вол-

неніе мысли и чувства при видѣ уходящей впередъ заманчивой перспективы,— всѣ эти наслажденія путешественника, всѣ эти радости любителей движенія и простора служили наградой нашимъ пловцамъ за ихъ дорожные труды.

Но вотъ, среди безлюдья сказалось присутствіе человѣка. Тамъ и сямъ, изъ-за стволовъ деревьевъ, мелькнули тюбитейки, пестрые халаты, и надъ головами казаковъ прозвучала стонущимъ звукомъ первая стрѣла. Открылись военныя дѣйствія. Сибирскій ханъ Кучумъ прослышалъ о зауральскихъ пришельцахъ и началъ готовиться къ оборонѣ. Широко раскиданные улусы зашевелились, и татары стали зорко слѣдить за плывшими стругами. Казакамъ пришла пора обратиться изъ путешественниковъ въ завоевателей. Они бодро взялись за дѣло, отстрѣливаясь съ лодокъ и выходя на берегъ, гдѣ представлялась возможность напасть за близлежащее жильё или вступить въ открытый бой. Ружье сыграло здѣсь ту же роль, какъ и въ Америкѣ, гдѣ сотня авантюристовъ отражала натискъ тысячи туземцевъ. Татары приходили въ паническій ужасъ отъ свинцовыхъ стрѣлъ съ ихъ невидимымъ полетомъ и неотразимымъ ударомъ. Казаки опрокидывали и разгоняли толпы враговъ, подвигаясь дальше. Но Кучумъ не принадлежалъ къ числу малодушныхъ людей. Онъ продолжалъ высылать противъ Ермака все большія и большія толпы воиновъ, начальство надъ которыми принялъ родственникъ хана Махметкуль, храбрый витязь и даровитый вождь. Стычки стали горячѣе, стрѣлы тучами сыпались на казаковъ, и скоро не осталось между ними ни одного, который бы не былъ раненъ. Убитыхъ, правда, не насчитывалось много, но и малая убыль была тяжела для слабаго отряда. Можно ли удивляться, что въ виду трудностей пути и потерь людьми въ средѣ казаковъ возникало опасеніе за успѣшность исхода предпріятія? Но это сомнѣніе не лишило мужества завоевателей. Удвоивъ энергію и собравшись съ силами,

они перешли изъ Туры въ Тоболь и повели свои лодки къ Иртышу, на берегу котораго находилась столица царства, Сибирь или Искеръ. Чтобы обмануть враговъ относительно своего числа, казаки дѣлали изъ хвороста чучела, одѣвали ихъ въ свои одежды и размѣщали по стругамъ.

Уже совсѣмъ вблизи отъ цѣли движенія, на берегу Иртыша, Кучумъ поставилъ послѣдній барьеръ. Здѣсь, за засѣками, на большомъ пространствѣ, были собраны огромныя силы татаръ. Махметкулъ и лучшіе воины хана находились на лицѣ. Тутъ же располагались многочисленныя толпы союзниковъ и вассаловъ, вогульскихъ и остяцкихъ князьковъ. Казаки, высадившись на берегъ, тотчасъ же увидѣли все неравенство силъ, и снова въ ихъ закаленныхъ душахъ шевельнулась тревога. Ихъ положеніе, дѣйствительно, было очень тяжело. Впереди—перспектива битвы въ безразсудныхъ условіяхъ одного противъ пятидесяти и ста, позади—сотни верстъ отступленія по рѣкамъ, которыя надвигавшаяся зима готовилась сковать на долгіе мѣсяцы льдомъ. Долго думали „крѣпкую думу“ казаки и пришли къ рѣшенію, котораго формула и мотивы (по единогласному описанію лѣтописцевъ) нисколько не напоминаютъ жалкихъ „рабовъ земли“ и прирожденныхъ пахарей, а скорѣе отзываются героизмомъ древняго Рима въ соединеніи съ благочестіемъ христіанскихъ рыцарей. „Умремъ до послѣдняго человѣка, говорили казаки,—а вспать не возвратимся, срама ради. Если Богъ поможетъ, то и по смерти нашей память не оскудѣетъ, и слава наша вѣчно будетъ“. На другой день, раннимъ утромъ, Ермакъ въ качествѣ главнаго атамана обошелъ дружину и со слезами умиленія предложилъ помолиться. Казаки бодро выступили, возгласивъ „яко единѣми усты“: „Господи, помоги намъ!“ Началось сраженіе, бывшее поистинѣ смертнымъ боемъ, такъ какъ татары бились за независимость, а казаки за честь и жизнь. Загремѣли пищали, полетѣли тучи

стрѣль; произошла ужасная ошибка, кровавая рукопашная рѣзня грудь съ грудью, „дондеже, замѣчаетъ лѣтописецъ, — другъ-друга за руки емлюще сѣчахуся“. Единодушіе, военный навыкъ, лучшее вооруженіе и несокрушимая отвага казаковъ повернули побѣду въ ихъ сторону. Раненый Махметкуль былъ увезенъ съ поля битвы. Татары дрогнули, а ихъ союзники разсыпались вразсыпную. Кучумъ, наблюдавшій за боемъ съ высокаго холма, увидѣлъ потерю сраженія, бросился въ столицу, захватилъ кое-что изъ имущества и бѣжалъ въ далекія степи на югъ. Побѣдители вошли въ Искеръ и нашли здѣсь значительную добычу золотомъ, серебромъ и цѣнными мѣхами.

III.

Мы назвали Сибирь или Искеръ столицей сибирскаго царства. Но слово „столица“ здѣсь нельзя принимать въ серьезномъ значеніи, такъ какъ Искеръ не представлялъ собою, конечно, ничего похожаго на городъ въ современномъ смыслѣ, хоть бы на примѣръ, на нынѣшній Бахчисарай и пр. По описанію академика Миллера, Завалишина и др., мѣстность древней Сибири составляетъ высокій холмъ, вдающійся мысомъ въ Иртышъ, въ 19 верстахъ отъ Тобольска. Вершина холма, гдѣ жилъ Кучумъ, занимаетъ теперь небольшое кругловатое пространство саженъ 50 впоперекъ. Эта площадка была, вѣроятно, въ тѣ времена обширнѣе и постепенно отмыта весенними половодьями, отъ которыхъ сильно страдаетъ и нашъ Тобольскъ. На пустой лысинѣ холма, покрытой дерномъ, теперь растутъ нѣсколько раскидистыхъ деревьевъ; кое-гдѣ земля изрыта искателями кладовъ. О старинномъ жильѣ свидѣтельствуютъ только неровности почвы. Бѣльшихъ остатковъ не сохранилось, потому что зданія столицы были выстроены, или по татарскому обычаю, въ видѣ деревянныхъ срубовъ, или по-бухарски, изъ нежженныхъ кирпичей.

Въ такихъ-то избахъ, совсѣмъ не похожихъ на дворцы Мексики и Куско, посѣлились завоеватели. Они зажгли огонь на битыхъ изъ глины чувалахъ, разостлали одежды на нарахъ съ травяными подстилками или тагарами, размѣстили имущество по кладовымъ, выстроеннымъ на высокихъ столбахъ, и стали жить. Имъ приходилось приспособляться къ условіямъ существованія, совершенно отличнаго отъ земледѣльческаго быта, приходилось жить среди незнакомой природы и владѣть совершенно чуждымъ населеніемъ.

Наступившая въ скоромъ времени зима оковала рѣки, оголила лѣса, пропеслась снѣжными бурями и засыпала весь необъятный горизонтъ глубокимъ, саженымъ сугробомъ. Жизнь замерла кругомъ, и край погрузился въ долгое, жуткое оцѣпенѣніе. Морозный воздухъ, въ зачарованной неподвижности, искрился отъ времени до времени огнями сѣвернаго сіянія или игралъ миражами, въ которыхъ казакамъ чудились дорогія картины, далекіе хутора Поволжья, съ высокими жердями знакомыхъ колодцевъ и съ стройными колокольнями родныхъ церквей... Расположившись какъ дома, завоеватели свободно бродили по окрестностямъ, заходили въ ближайшіе улусы, брали ясакъ, мѣха и продовольствіе. Въ Искерѣ они жили такъ же, какъ у себя на Дону или на Волгѣ. День проводили вмѣстѣ, или обсуждая общія дѣла, или занимаясь приготовленіемъ сѣтей, тенеть и пр. Работа сопровождалась разказами о различныхъ эпизодахъ похода и о былыхъ временахъ. Взаимныя отношенія были проникнуты духомъ братства; всѣ жили откровенно, на виду другъ у друга, предположенія каждаго изъ нихъ, что дѣлать завтра, послѣ завтра, были извѣстны всѣмъ. Добывалъ ли кто-нибудь дичи или рыбы,—все это становилось общимъ достояніемъ. На ряду съ совмѣстнымъ трудомъ были совмѣстны и развлечения—игры, стрѣльба въ цѣль и пр.

Лагери американскихъ завоевателей, какъ извѣстно, составляли постоянную арену раздора; каждая побѣда

надъ туземцами тамъ завершалась драмой дѣлежа добычи. Въ казацкомъ же становищѣ ссоры случались рѣдко: лѣтописи вовсе не упоминають о нихъ. Старики умѣли во время пресѣкать размолвку, заставляя обидчика идти къ обиженному и просить прощенія. Всякіе дѣлежи производились не по чинамъ: казаки не находили нужнымъ разсортировываться на большихъ и меньшихъ. Атаманы, эсаулы, сотники и пятидесятники избирались для дѣла, а не для величанія и чванства. Къ проявленіямъ порока казацкій кругъ относился строго; всякіе грѣхи, «до нечистоты касающіеся, влекли за собою наказанія, причемъ грѣшниковъ всенародно мыли и сажали дня на три въ желѣза. Цѣломудріе соблюдалось съ высокимъ ригоризмомъ. Туземки не могли ни пожаловаться на казаковъ, ни похвастаться побѣдами надъ ними. Какъ-то разъ одинъ изъ мѣстныхъ князьковъ предложилъ свою дочь Ермаку, но тотъ немедленно отправилъ красавицу обратно. Такимъ образомъ и въ этомъ отношеніи выступаетъ крупное отличіе отъ сподвижниковъ Кортеса и Пизарро, знамена которыхъ, по выраженію Прескота, гораздо умѣстнѣе было бы вѣнчать магометанскою луной, чѣмъ христіанскимъ крестомъ.

Прошла, мѣсяць за мѣсяцемъ, долгая зима и наступила весна,—быстрая, феерическая сибирская весна. Зимнія оболочки, льды и снѣга, тронулись разомъ, словно декорации на сценѣ. Всѣ окрестности Искера потонули въ необъятной водной массѣ разлива. Но вода держалась недолго; весьма скоро картина истиннаго всемірнаго потопа измѣнила свой характеръ. Ожили дремучіе, вѣковые лѣса, громадныя кедры, ели и сосны дали свѣжіе побѣги. Между древесныхъ чащъ зазеленѣли зыбуны, съ сочащеюся почвой, на которой тонетъ человѣческая нога, если не подвязать подъ обувь широкія драпицы. Повсюду, по холмамъ и по островамъ, раскинулись ковры яркихъ цвѣтовъ, роскошныя букеты алой сараны, бѣлоголовника, чемерицы, бѣлой и красной лиліи, незабу-

докъ, колокольчиковъ и фіалокъ. На землѣ и на водѣ проснулась жизнь; птичій перелетъ наполнилъ лѣса, озера, и не осталось ни одной лужи, въ которой бы не копошились пернатые весенніе гости, утки, гуси, лебеди и пр. Въ быстро нагрѣвшемся воздухѣ поднялись тучи мошекъ и комаровъ, этихъ бичей сибирскаго лѣта, отъ которыхъ нѣтъ спасенія, такъ какъ они числомъ подавляютъ всѣ усилія и хитрости человѣка.

Любуясь окружающимъ дикимъ раемъ, благоговѣя предъ грандіознымъ зрѣлищемъ первобытнаго творенія, казаки не забывали дѣла. Иногда самъ Ермакъ, иногда его эсаулы предпринимали движенія по рѣкамъ, съ цѣлію расширить и закрѣпить свои новыя владѣнія. Они заходили въ улусы, принимали отъ населенія присягу, брали ясакъ и налажали годовую дань. Ихъ разъѣзды не были рысканьемъ жадныхъ искателей поживы, думающихъ лишь о томъ, чтобы схватить что можно и уйти. Казаки шли съ намѣреніемъ создать въ новомъ краю новую жизнь, завязать прочные узлы мѣстныхъ отношеній, внести въ сибирскую глушь опредѣленный бытовой укладъ. Въ своихъ экскурсіяхъ они надѣвали праздничныя платья, которыя были своего рода масличною вѣтвью для туземцевъ или знаменемъ праздника обновленія жизни, а не истребительнаго хищенія. Совсѣмъ иное зрѣлище представляли собою въ Новомъ Свѣтѣ банды европейскихъ авантюристовъ, которые, съ звѣрскимъ видомъ, въ истерзанныхъ лохмотьяхъ, рылись законченными порохомъ руками въ скарбъ побѣжденныхъ туземцевъ.

Казаки старались дѣйствовать по-божески и соблюдать въ поборахъ справедливость. Иногда, видя бѣдность какого-нибудь поселенія, они вовсе не брали ясака и не принимали подарковъ. Люди, бывшіе предками тѣхъ «рабовъ земли», о которыхъ говорятъ, что ихъ умственный, и нравственный горизонтъ ограничивается полосой обрабатываемаго поля, и что они не въ силахъ уразумѣть существо урядника и непремѣннаго члена, — эти люди,

въ трудномъ положеніи оторванныхъ отъ міра правителей обширной страны, обнаруживали много политическаго такта. Казаки принимали и отпускали прѣзжавшихъ туземцевъ съ величавою милостью и всегда отличали вооруженнаго врага отъ мирнаго обывателя. Искеръ, въ отличіе отъ городовъ Новаго Свѣта временъ завоеванія, ни разу не затоплялся кровью жертвъ жестокаго коварства. Мы тщетно искали бы здѣсь проявленій не только напраснаго, но и «полезнаго» безчеловѣчья, такъ часто пятнавнаго блестящіе гербы кастильскихъ рыцарей... Лѣтописи единогласно свидѣтельствуютъ о благочестіи нашихъ воиновъ, о соблюденіи ими постовъ и пр. Но ихъ религіозность была русскою религіозностью, всегда проникнутой духомъ терпимости. Казаки не чужды были, пожалуй, ироническаго отношенія къ страннымъ обрядамъ туземцевъ, они были не прочь посмѣяться надъ чудаками, садившими металлическаго божка для чего-то въ чашку съ водой, но въ ихъ дѣйствіяхъ никогда не замѣчалось издѣвательства надъ чужою святыней, не было насилій, не было, словомъ, испанской набожности,—жестокой набожности крестonosца...

Между тѣмъ ханъ Кучумъ отнюдь не желалъ примириться съ мыслью о потерѣ царства. Его отряды рыскали вокругъ казаковъ, и малая война продолжалась непрерывно. Здѣсь-то, на этой аренѣ засадъ и хитростей, русская натура обнаруживала свой крупный, коренной недостатокъ. Если вспомнимъ зоркую бдительность, на примѣръ, Кортеса, его постоянную духовную напряженность и не остывавшую энергію, если вспомнимъ недремлющихъ часовыхъ, которые всегда сторожили испанскіе лагери, гдѣ отдыхали воины, не разставаясь съ оружіемъ, несмотря на самое страшное утомленіе,—если мы вспомнимъ все это, то получимъ точку зрѣнія, съ которой дѣйствія казаковъ покажутся намъ въ плохомъ освѣщеніи. Наши завоеватели страдали отсутствіемъ осторожности. Въ одномъ мѣстѣ 20 казаковъ безопасно лови-

ли рыбу и были умерщвлены подкравшимися врагами. Другой разъ, по коварной просьбѣ о помощи татарскаго князька, отрядъ въ 40 человекъ наивно отправился на зовъ непріятеля и погибъ въ засадѣ. Такихъ случаевъ было не мало. Быть-можетъ, въ этой досадной русской неосмотрительности кроется національная антипатія къ путямъ кривды, чувствованіе собственной мощи или увѣренность въ конечной побѣдѣ. Можетъ-быть. Но тѣмъ не менѣе порокъ остается порокомъ. За него приходится платить вялостью прогресса, напрасными уроками, упущеніемъ выгодъ и безконечными отсрочками въ борьбѣ со всякимъ зломъ, которое благополучно тучиѣтъ въ ками на неумѣстно терпѣливомъ народномъ тѣлѣ.

Въ постоянныхъ походахъ и стычкахъ таяли силы казацкаго войска, запасы пороха истощались и оружіе приходило въ негодность. Нужно было искать сильной помощи людьми и военными припасами. Казаки отправили посольство въ Москву, «поклониться царю Сибирскимъ царствомъ». Іоаннъ Грозный принялъ съ удовольствіемъ даръ волжской вольницы и велѣлъ снарядить въ Сибирь нѣсколько сотъ стрѣльцовъ. Стрѣльцы пошли подъ начальствомъ Болховскаго, который, какъ царскій воевода, долженъ былъ вступить въ управление пріобрѣтеннымъ краемъ. Прибытіе москвичей весьма обрадовало завоевателей, начинавшихъ серьезно смущаться слабостью своего числа и силъ. Однако же ближайшее будущее грозило бѣдствіями. Съ наступленіемъ зимы въ Искерѣ открылся голодъ, за которымъ послѣдовалъ моръ. Среди неурядицы никто не зналъ, гдѣ и какъ добыть себѣ дневное пропитаніе; суровость климата не замедлила сказаться на истощенныхъ организамахъ. Люди заболѣвали десятками и погибали. Умеръ и самъ воевода Болховской.

Лѣтописцы объясняютъ эти прискорбные факты тѣмъ что казаки не ожидали прибытія стрѣлцакаго отряда и не запаслись провіантомъ. Но нужно думать, что истин-

ная причина бѣдствія не укладывается въ узкія рамки мѣстныхъ обстоятельствъ. Она шире тѣсныхъ рововъ Искера и заключается въ томъ отсутствіи солидарной гармоніи между земскимъ и государственнымъ элементами жизни, которое вообще отзывалось тяжело на общественно-политическихъ судьбахъ Руси.

Русскій народъ создалъ грандіозное государственное зданіе и центральный пунктъ своего политическаго единства, поставивъ это средоточіе на твердый пьедесталь своей испытанной любви. Но народный умъ, весьма малый формалистъ по существу, не успѣлъ найти удобнаго способа функціонирования своей государственности и гармонической формы сосуществованія и сотрудничества земли и государства, вслѣдствіе чего они не приспособились идти рядомъ, вмѣстѣ и дружно. Не имѣя возможности обходиться другъ безъ друга, они не умѣли къ сожалѣнію соединять во-едино свои силы. На поприщѣ практической дѣятельности воевода Болховской выдвигался впередъ, а Ермакъ отходилъ совершенно въ сторону. Земскій элементъ складывалъ руки и становился въ позу празднаго зрителя, тогда какъ государство, въ лицѣ своихъ органовъ, брало на себя непосильное и ему несвойственное дѣло. Вмѣсто охраненія и регулированія жизни, государство желало созидать ее, творить силой своего усмотрѣнія и воли. Нужно ли удивляться, что такія предприятия разрѣшались только внѣшними схемами и формальностями, лишенными живаго содержанія? Что могъ сдѣлать московскій воевода, не соединенный живою связью съ окружающими людьми и обстоятельствами, а вооруженный лишь грамотой и властью? Между тѣмъ онъ долженъ былъ дѣйствовать, запрещать, разрѣшать и приказывать; онъ долженъ былъ всѣхъ одѣть, накормить и согрѣть. Нужно ли удивляться, что въ результатѣ послѣдовалъ голодъ и моръ? Въ далекомъ сибирскомъ поселеніи случилось то же, что сѣяло бѣды въ другихъ мѣстахъ.

Послѣ смерти Болховскаго Ермакъ и казацкій кругъ снова взялись за дѣло. Жизнь потянулась по прежнему, съ тѣмъ же умѣніемъ вести свою линію среди всякихъ обстоятельствъ, съ тою же твердостью въ критическіе моменты и всеокрушающимъ мужествомъ самозащиты и нападенія, но, — мы должны прибавить, — и съ тѣми же проявленіями неосторожности, съ временными усыпленіями вниманія и энергіи. Минута такой досадной оплошности стоила завоевателямъ жизни ихъ главнаго вождя. Какъ-то разъ въ Искеръ пришло извѣстіе, быть-можетъ, ложно пущенное врагами, о приближеніи каравана бухарскихъ купцовъ, которыхъ будто-бы не пропускаютъ татары. Ермакъ тотчасъ же собралъ отрядъ и отправился навстрѣчу каравану. Долго искалъ онъ его по окрестностямъ, но купцовъ нигдѣ не оказалось. Ермакъ повернулъ назадъ и вечеромъ подошелъ къ устью рѣки Вагая, впадающаго въ Иртышъ. Наступила темная, ненастная ночь. Сильный вѣтеръ клубилъ низкія, черныя тучи, и дождь лилъ не переставая. Казаки безопасно легли спать, безъ часовыхъ и безо всякихъ мѣръ предосторожности. Усталость была очень велика, близости враговъ не предполагалось, къ тому же сама непробглядная, темная ночь, казалось, могла посторожить покой. Но татары слѣдили за нашимъ отрядомъ. Пользуясь мракомъ, они прокрались въ казацкое становище и напали на сонныхъ людей. Ермакъ, отбиваясь отъ непріятелей, бросился къ лодкамъ, поскользнулся и упалъ въ воду. Такъ погибъ знаменитый казакъ XVI столѣтія, простолудинъ, котораго имя увѣковѣчено въ исторіи.

Намъ могутъ замѣтить, что въ предшествующемъ разсказѣ личность Ермака не выступаетъ съ яркою рельефностью, и что его роль не выдѣляется изъ общаго подвига завоевателей. Однакоже мы ни на минуту не сводили съ него глазъ и указали не мало его характеристическихъ чертъ, такъ какъ все сказанное о казакахъ относится и къ ихъ атаману. Когда мы говорили о ши-

рокихъ душевныхъ запросахъ, не желающихъ мириться съ порабощеніемъ узкому укладу жизни, мы подразумѣвали и Ермака. Когда мы удивлялись способности приспособляться ко всякой средѣ, такту ладить съ людьми и ловкости ориентироваться среди самыхъ непривычныхъ обстоятельствъ, мы удивлялись вмѣстѣ съ тѣмъ и Ермаку. Къ нему же относится и все, что мы сказали о казакомъ мужествѣ, стойкости, терпимомъ благочестіи, цѣломудріи, добродушіи, поэтической созерцательности, досадной безпечности и пр. Если же у насъ Ермакъ не вырывается вонъ изъ общей картины событія, не подавляетъ своею личностью сотрудниковъ и товарищей, то въ этомъ именно заключается послѣдняя, наиболѣе характерная черта атамана, какъ русскаго героя.

Не надо забывать, что герой въ русскомъ смыслѣ не то, что герой въ западно-европейскомъ значеніи. Въ Европѣ героемъ является человѣкъ, поднимающійся высоко надъ общимъ уровнемъ и выдѣляющійся изъ общей среды; человѣкъ личной инициативы, носитель оригинальной идеи, то изнемогающій въ борьбѣ съ окружающимъ непониманіемъ, то уловляющій людей хитростью и насиліемъ, обращающій ихъ въ матеріалъ для своего созиданія, мостящій ими мостъ на пути достиженія своей цѣли и готовый идти по трупамъ къ осуществленію личной задачи. Вспомнимъ еще разъ завоеванія испанцевъ въ Новомъ Свѣтѣ. Все бремя, весь ходъ и вся успѣшность этихъ предпріятій двигались, стимулировались и опредѣлялись личными свойствами героевъ-вождей. Въ мексиканскихъ походахъ мы постоянно видимъ на первомъ планѣ Кортеса, его удалъ, его бдительность, его гений. Другіе авантюристы и гидальго были не товарищами его и не сотрудниками, а только орудіями его мысли, его инициативы и энергіи. Кортесъ объединялъ личными талантами, какъ цементомъ, рыхлую массу своего отряда; онъ то разжигалъ ее страстью корыстныхъ ожиданій, то одухотворялъ мужествомъ отчаянія, истреб-

ляя тайно свои корабли и тѣмъ уничтожая мысль объ отступленіи. Много подобнаго же находимъ и въ завоеваніи Перу. Все дѣло и здѣсь опиралось на личность Пизарро, который поддерживалъ бодрость спутниковъ. заботился о каждомъ изъ нихъ, ухаживалъ лично за больными; онъ таилъ про себя свои намѣренія, онъ потихоньку ставилъ съ азартностью игрока рискованныя карты и игралъ на страстяхъ сподвижниковъ, какъ на клавишахъ, мотивы своего сочиненія. Предпріятіе постоянно висѣло на тонкомъ волоскѣ судьбы одного человѣка, такъ какъ достаточно было вождю поколебаться минуту, чтобы все рухнуло и разсыпалось прахомъ.

Совсѣмъ не то мы видимъ въ Ермакѣ. Онъ не выдѣлялся изъ среды сподвижниковъ и не влекъ ихъ за собою на буксирѣ. Вмѣстѣ съ товарищами, онъ думалъ крѣпкую думу о движеніи съ Волги къ Строгановымъ и отъ Строгановыхъ въ царство Кучума. Вмѣстѣ съ казаками преодолевалъ онъ трудности похода, намѣчалъ планъ дальнѣйшихъ дѣйствій, кручинился въ тяжелыя минуты, обсуждалъ и рѣшалъ вопросы. Въ тѣхъ случаяхъ, когда приходилось сражаться, Ермакъ не прибѣгалъ ни къ какимъ искусственнымъ средствамъ возбужденія мужества въ войскѣ; онъ только позволялъ себѣ слезныя приглашенія помолиться. Въ битвѣ, въ первыхъ рядахъ бойцовъ, всегда можно было видѣть его коренастую фигуру, съ курчавою головою и черною бородой. Его взоръ не сверкалъ при этомъ страстью авантюриста, а свѣтился солидною, дѣловитою рѣшимостью сдѣлать свое дѣло, побѣдить или умереть. Во всѣхъ случаяхъ онъ не распоряжался въ качествѣ хозяина предпріятія, а добросовѣстно исполнялъ возложенныя на него атаманскія обязанности. Почему именно онъ, а не Иванъ Кольцо и никто другой, былъ атаманомъ и вождемъ отряда? Не потому, что онъ былъ далекъ отъ своихъ казаковъ по личнымъ свойствамъ, а потому, наоборотъ, что онъ былъ всѣмъ имъ равно близокъ. Говорятъ, что имя его произошло

отъ слова «ермакъ», артельный котель. Быть-можетъ, это слово можно примѣнить въ фигуральномъ смыслѣ и къ личнымъ свойствамъ сибирскаго завоевателя, принадлежавшаго къ числу тѣхъ душевныхъ, отзывчивыхъ личностей, вокругъ которыхъ у насъ всегда охотно группировались люди.

Русскимъ героемъ всегда бывалъ человѣкъ, котораго мысль полнѣе охватывала то, что волновало мысли всѣхъ, и котораго сердце чувствовало горячѣе то, что было во всѣхъ сердцахъ. Русский герой не изолированный индивидъ, а символъ общихъ стремленій и знаменосецъ общаго движенія. Русь охотно шла за личностями въ родѣ Козьмы Минина или патриарха Гермогена, но отказывалась служить объектомъ для экспериментовъ людей типа Наполеона I. Человѣкъ, «геройствующій» особнякомъ, для насъ всегда былъ только болѣе или менѣе любопытнымъ зрѣлищемъ, и мы постоянно обнаруживали склонность сторониться отъ его даже блестящей дѣятельности, какъ отъ фейерверка, въ ожиданіи момента, когда огонь погаснетъ и чадъ разсѣется по вѣтру.

Ермакъ погибъ, но дѣло его не умерло съ нимъ. Исторія свидѣтельствуетъ, что гораздо раньше Ермака въ Сибири бывали военные отряды. Отъ этихъ походовъ не получалось прочнаго результата, потому, что они были специально военными экспедиціями и ихъ занимало свое особенное дѣло маршей и контрмаршей, атакъ и отступленій. Они прошли такъ же безслѣдно, какъ полетъ птицы подъ облаками или движеніе лодки по поверхности воды. Но походъ Ермака не былъ только военнымъ наѣздомъ. Казаки его отряда составляли какъ бы малую частицу русскаго народа; съ качествомъ воиновъ въ нихъ соединялось значеніе переселенцевъ или колонистовъ. Они вошли въ жизнь страны и установили первыя основы связи съ нею; они наложили на новый край нѣкоторую печать своей личности, а вмѣстѣ, слѣдовательно, связали этотъ край съ русскою землею.

Послѣ Ермака Сибирь вошла въ составъ Россіи и стала участницей ея исторіи. Съ этого времени, столѣтіе за столѣтіемъ, она живетъ нашею общою жизнью и напоминаетъ о себѣ,—по выраженію г. Ядринцева,—все новыми дарами; при Петрѣ I—открытіемъ рудниковъ, бухарскимъ золотомъ и торговлей съ Китаемъ; при Екатеринѣ II—бухарскою торговлей, присоединеніемъ степей, Камчатки, американскими владѣніями; въ ближайшее время—открытіемъ золота, присоединеніемъ Амура, Средней Азіи, Сахалина и т. д. На нашихъ глазахъ совершается соединеніе Сибири съ центрами Россіи желѣзною дорогой. Это соединеніе—чрезвычайно важное дѣло, если, конечно, мы будемъ видѣть въ желѣзной дорогѣ не орудіе ликвидаціи средствъ Сибири и спекуляціи на ея сырье, не насосъ для выкачиванія и расхищенія богатствъ края, а путь притока въ Сибирь всесторонняго просвѣщенія и благоустроенной гражданственности.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Русскій ученый XVIII вѣка.

I.

Есть историческіе факты и лица, одно воспоминаніе о которыхъ поднимаетъ въ нашей душѣ волну отраднато, благородно-горделивато чувства. Къ такимъ фактамъ принадлежитъ начало русскаго научнаго просвѣщенія въ первой половинѣ XVIII вѣка; къ такимъ лицамъ относятся первые русскіе ученые. Конечно, было бы ошибочно думать, будто умственная жизнь Россіи начинается съ названной эпохи и будто реформа Петра провела въ нашей исторіи рѣзкую линію, отдѣляющую царство тьмы отъ царства свѣта. Россія жила и раньше духовными интересами, и раньше ощущала потребность въ знаніи, удовлетворяя эту потребность посильнымъ напряженіемъ мысли. Но умственная жизнь наша до XVIII вѣка, говоря вообще, оставалась въ фазисѣ „народной мудрости“.

Народная мудрость, это — коллективная работа мысли, дѣлающая быстрыя обобщенія изъ наличныхъ эмпирическихъ знаній и полужнаній, претворяющая своимъ творчествомъ весь матеріалъ сложившихся чувствованій и приобрѣтенныхъ свѣдѣній въ цѣлостныя мнѣнія и сужденія о вещахъ, и освѣщающая смѣлыми лучами отгадокъ всѣ вопросы и всѣ тайны. Мудрость есть сфера человѣческаго генія; широта и высота мудрости стоитъ въ прямомъ соотвѣтствіи съ размѣромъ дарованій мудреца. Въ народной мудрости — естественная арена для проявленія природныхъ талантовъ народа. Но какъ бы ни были высоки качества мѣдрости, ея одной недостаточно.

Она постоянно болѣе склонна освѣщать предметы и явленія сверху, собственнымъ свѣтомъ, чѣмъ входитъ въ среду дѣйствительности, съ цѣлью узнать на мѣстѣ, что и какъ существуетъ. Она сильна гипотезами, обобщеніями и отгадками, но отгадки могутъ быть ошибочными, тогда какъ есть области, гдѣ людямъ представляется полная возможность не только предполагать и догадываться, но и твердо знать. Вотъ почему, оставляя на долю мудрости созданіе общаго міросозерцанія, твореніе великой поэмы жизненныхъ идеаловъ, надо желать водворенія въ народѣ науки, которая расчленяетъ по специальностямъ и детально объясняетъ обширное поле фактовъ, доступныхъ счету и мѣрѣ, анализу и опыту. Мудрость выдвигаетъ изъ глубины народнаго духа путеводные образы желательнаго, наука же тысячью глазъ неустанно изучаетъ среду, по которой проходитъ дорога чловѣческаго прогресса. Таковы два условія, обеспечивающія надлежащее исполненіе важнѣйшаго изъ искусствъ— искусства жить хорошо.

Начало XVIII вѣка ознаменовалось для насъ именно вступленіемъ науки въ предѣлы Россіи. Почтенные ученые, прибывшіе изъ-за границы, и быстро ставшіе на ряду съ ними русскіе дѣятели сразу и горячо взялись за свою благородную работу. Химическій анализъ, физическое наблюденіе и астрономическое вычисленіе овладѣли областью, гдѣ до тѣхъ поръ ширилась народная мудрость и изнемогала народная смѣтка. Живая любознательность молодой науки шла въ глубь русской старины, подвергала изслѣдованію русскій языкъ, испытывала природу и жизнь, прошедшее и настоящее. Ученые не оставались ревнивыми жрецами кабинетной науки. Напротивъ, они обнаруживали горячее желаніе быть носителями общедоступнаго свѣта; они составляли учебники и руководства, читали публичныя лекціи, писали популярныя статьи. Честный трудъ пионеровъ науки навсегда останется глубоко назидательнымъ и отраднымъ зрѣли-

щемъ. Тутъ было нѣчто большее, чѣмъ профессиональная добросовѣстность. Надъ работой первыхъ ученыхъ вѣялъ духъ героизма, побуждавшій ихъ, — поистинѣ безкорыстно, — жертвовать собою на подвигѣ исканія и накопленія знаній. Одни изъ этихъ героевъ науки углублялись въ сибирскія дебри, борясь ежечасно съ нуждою и опасностями, другіе бѣдствовали жертвами любознательности въ песчаныхъ пустыняхъ, умирали въ татарскомъ плѣну или погибали въ бурѣ народныхъ мятежей и неурядицъ. Русская дѣвственная почва разомъ раскрыла свои богатыя продуктивныя силы и дала соотвѣтственный плодъ.

Первое мѣсто въ ряду названныхъ дѣятелей занималъ Ломоносовъ. Біографія его общеизвѣстна. Всѣмъ памятенъ онъ, какъ любознательный мальчикъ въ Холмогорахъ, какъ бѣдствующій школьникъ въ Москвѣ, какъ даровитый ученикъ за границей, и какъ знаменитый академикъ въ Петербургѣ. Но — какъ это также всѣмъ понятно — подъ этими біографическими фактами, укладываемыми на протяженіи двухъ строкъ, скрывается своего рода «жизніе», преисполненное почти сверхъчеловѣческихъ трудностей. Пройти ломоносовскій жизненный нуть могло только природное могучее призваніе къ наукѣ, — то призваніе, которое не позволило юношѣ «оставить науки» въ теченіе пятилѣтняго нищенства съ однимъ алтыномъ въ день; то призваніе, которое побуждало Ломоносова, на склонѣ дней, обременяемаго разными порученіями, просить какъ милости, какъ необходимаго отдыха, «какъ отъ трудовъ упокоенія», нѣсколькихъ часовъ свободы для физическихъ и химическихъ занятій.

Воспринявъ основы научнаго образованія за границей, широкій умъ Ломоносова пронесся орломъ надъ всѣми отраслями знанія. Современные ученые удивляются его работамъ по геологіи; въ физикѣ Ломоносовъ дѣлалъ открытія одновременно съ иностранными свѣтилами, иногда и раньше ихъ; въ метеорологіи онъ предвидѣлъ

многое изъ того, что стало достояніемъ науки только въ наши дни. Входя въ детали специальныхъ отдѣловъ науки, онъ понималъ и внутреннюю ихъ связь, говоря: «Слѣпъ физикъ безъ математики и сухорукъ безъ химіи». Кромѣ обширной области естествовѣдѣнія, Ломоносовъ занимался исторіей и словесностью; его руками были положены первыя грани на многоцѣнномъ алмазѣ русской рѣчи. Ученое рвеніе Ломоносова не парализовалось его великими практическими трудами на пользу отечественнаго просвѣщенія. Всѣмъ извѣстны его непрерывныя заботы объ академіи, объ университетѣ, о гимназіи; извѣстны его безконечные учебные проекты, его настоянія и ходатайства, напримѣръ, о запрещеніи «привязываться къ ученымъ, а особливо ругать науки въ проповѣдяхъ». Извѣстны, наконецъ, его наивныя, но характеристическія мечты о будущемъ, когда «европейскіе ученые, возвращаясь изъ Россіи, станутъ сказывать: мы были въ градѣ Петровѣ, мы видѣли чудныя дѣла Божіи, при дворѣ какъ любятъ ученыхъ» и т. д.

Какъ бы ни была строга критика, направленная противъ результатовъ ученой дѣятельности Ломоносова, нельзя отрицать величія его дѣла, какъ начинателя научной работы въ Россіи. Онъ самъ сознавалъ свою роль, говоря и повторяя: «Хотя я и не совершу, однако, начну, что будетъ другимъ послѣ меня легче дѣлать». Въ этомъ отношеніи онъ съ полнымъ правомъ могъ бы называть себя, какъ Бэконъ, передовымъ трубачомъ знанія и сравнивать себя со статуей Меркурія, которая ставилась у римлянъ при дорогѣ, для указанія направленія проходящимъ мимо путникамъ. И надо сказать, что путь, указанный Ломоносовымъ русской наукѣ, былъ истинный путь, ибо онъ велъ ее не къ горделивому разрыву съ народнымъ духомъ, а къ честному служенію своей странѣ.

Часто утверждаютъ, что наука не можетъ совершать никакихъ разрывовъ съ народностью. Конечно, нау-

ка въ собственномъ смыслѣ слова не имѣть ни географическихъ, ни національныхъ границъ, но надо имѣть въ виду еще тенденціи и личные взгляды ученыхъ, влетающіеся въ научные труды и окрашивающіе ихъ. Само собою разумѣется, что доказательство скандинавскаго происхожденія варяговъ не ведетъ ни къ какимъ разрывамъ, но совсѣмъ иное—«выводъ» изъ этой научной истины, что, напримѣръ, русскій народъ есть стадо, которому вѣчно нуженъ чужой бичъ... Г-нъ Пыпинъ, въ одномъ изъ своихъ сочиненій, замѣчаетъ, что новыя знанія не могли произвести въ Россіи разрыва, такъ какъ они состояли изъ свѣдѣній по географіи, исторіи, физикѣ и ариметикѣ. «Пора бы, — прибавляетъ онъ, — перестать видѣть въ усвоеніи правилъ о дробяхъ національное несчастье». Но это, конечно, только остроумная шутка. «Никакой западной науки нѣтъ, — говоритъ г. Пыпинъ, — а есть одна обще-человѣческая, принятая Западомъ отъ классическаго міра, а имъ — отъ восточной цивилизаціи; ничего специально-западнаго нѣтъ ни въ физикѣ, ни въ астрономіи, ни въ исторіи». Всѣ эти заявленія односторонни и закрываютъ глаза отъ истинной сущности дѣла. Наука, какъ объясненіе законовъ существованія и преемственности явленій, безъ сомнѣнія, столь же обща, какъ и таблица умноженія. Но научныя данныя всегда становятся матеріаломъ для построенія теорій, общихъ воззрѣній, и тутъ-то выступаетъ субъективность эпохъ, народностей и лицъ. Располагая одними и тѣми же научными знаніями, одинъ ученый вѣритъ въ духъ, другой въ матерію; стоя на почвѣ однихъ и тѣхъ же научныхъ данныхъ, одинъ мыслитель видитъ въ исторіи живую статистику, другой—героическую эпопею.

Сказанное необходимо имѣть въ виду еще болѣе, когда идетъ рѣчь объ этической и политической наукѣ. Никто не станетъ спорить, что знакомство съ западной политической литературой интересно и полезно. Но нуж-

но помнить, что европейскіе писатели-политики суть люди своей страны и своей эпохи. Помимо наличности у нихъ капитала знаній по части соціально-государственной жизни, эти писатели являются носителями интересовъ, идеаловъ и стремленій которые рождаются и борются въ окружающемъ ихъ обществѣ. Непрестанное памятованіе объ этомъ составляетъ необходимое условіе для надлежащаго изученія и усвоенія чужаго труда. Разумный ученикъ европейской науки разсуждаетъ такъ: мы стоимъ лицомъ къ лицу съ богатымъ опытомъ Запада, съ огромнымъ реестромъ всевозможныхъ общественно-политическихъ средствъ, для осуществленія разнообразныхъ общественно-политическихъ цѣлей. Если мы хотимъ знать желанія европейцевъ извѣстнаго времени, изложенныя подъ двусмысленнымъ и обманчивымъ девизомъ естественнаго права, то можемъ обратиться къ Пуффендорфу, Руссо или Вольфу. Если мы предположимъ, что человѣкъ есть въ сущности звѣрь, то вотъ проектъ соотвѣтственнаго государства-звѣрнца у Гоббеса. У Монтескье находимъ руководство, какъ управиться съ государственною властью, разсматриваемою со стороны возможныхъ ея злоупотребленій. Въ «*Il principe*» Макиавелли—ловкіе рецепты для достиженія противоположной цѣли и т. д. Чтобы воспользоваться должнымъ образомъ всѣми этими идеями, принципами и опытами, нужно постоянно искать опоры въ собственномъ регуляторѣ, въ собственныхъ нравственно-политическихъ идеалахъ, создаваемыхъ силою національнаго творчества.

Но возможно стать и на другую точку зрѣнія. Можно ошибочно счесть идеи, симпатіи и антипатіи Руссо, Бентама, или Спенсера, за тезисы вѣчной, общечеловѣческой науки, за вѣлія разума или природы. Тогда намъ придется смиренно подчиниться и начать немудрое дѣло подражанія чужимъ образцамъ. Видя издали силуэты людей, дѣлающихъ свое дѣло и борющихся за свои интересы, мы можемъ сами размахивать руками и со-

вершать такія же тѣлодвиженія. Входя во вкусъ такого упражненія, достойнаго шутовъ и малолѣтнихъ дѣтей, мы изолируемъ изъ окружающаго, мы разрываемъ историческія связи, мы испытываемъ гордость холопа, перенявшаго внѣшность господскихъ манеръ. Мы уже не дѣти своего народа, а его презрительные критики. Намъ компрометируетъ общество родныхъ «невѣждъ», и мы безглаголиво сторонимся отъ нихъ, чтобы намъ не смѣшали съ ними, какъ сторонится столичный лакей отъ «деревенщины» родни.

Не таковы были завѣты, данные русскому научному просвѣщенію первымъ русскимъ ученымъ. Ломоносовъ былъ далекъ отъ тупой самоувѣренности; онъ всегда держался правила, что «plus honorigis est aliena vera agnoscere, quam sua falsa tueri (лучше чужое истинное, чѣмъ ложное свое)». Но, съ другой стороны, онъ не былъ склоненъ и къ легковѣрію, создающему себѣ повсюду кумиры. Онъ высоко ставилъ Декарта именно за критическій элементъ его ученія, которымъ французскій мыслитель ободрялъ ученыхъ людей «противъ Аристотеля, противъ самаго себя и противъ прочихъ философовъ въ правѣ спорить». Боть почему Ломоносовъ смѣло заявлялъ, что «мода странъ чужихъ Россіи не законъ». Живя подъ сильнымъ впечатлѣніемъ богатой западной литературы, онъ не былъ ослѣпленъ ея блескомъ и не впадалъ въ малодушное самоуниженіе. Европа сіяетъ многими достоинствами, разсуждалъ онъ, но не надо поддаваться унынію, не нужно терять чувства справедливости, не слѣдуетъ изображать отечественную исторію такъ, что «почти на каждой страницѣ русскихъ грабятъ, бьютъ и благополучно побѣждаютъ».

Онъ былъ внимательнымъ ученикомъ западной науки, но умѣлъ пользоваться ею безъ духовнаго порабощенія, а потому и не обнаруживалъ рабьей готовности «высматривать пятна на одеждѣ російскаго тѣла, проходя истинныя ея украшенія». Чуждаясь унижительной роли простаго

подражателя, онъ преслѣдовалъ великія цѣли, онъ стремился провести европейскую науку черезъ оригинальный складъ русскаго ума и вооружить такимъ образомъ этотъ послѣдній на трудное дѣло научнаго, художественнаго и соціально-политическаго творчества.

Ломоносовъ умѣлъ подходить къ изученію природы безъ всякихъ предвзятыхъ, затуманивающихъ дѣло точекъ зрѣнія. «Когда насъ треплетъ на морѣ буря, — говорилъ онъ, — то не будетъ грѣхомъ сказать, что бурю поднялъ вѣтеръ; если въ Египтѣ случится неурожай, то не грѣхъ объяснить это явленіе слабымъ разлитіемъ Нила». Но, умѣя пытливо допрашивать природу, Ломоносовъ точно различалъ вопросы, на какіе можно и на какіе нельзя получить отвѣтъ. Онъ понималъ, что природа есть великая арена, которую долженъ человѣкъ неутомимо изучать, чтобы жить и дѣйствовать сознательно, а не оцупью. Но Ломоносовъ никогда не доходилъ до галлюцинацій, до представленія природы въ видѣ какой-то руководительницы, которая будто бы даетъ людямъ свои предписанія, свои готовыя, «объективныя», этическія нормы. Въ этомъ отношеніи у него былъ весьма опредѣленный взглядъ: «Создатель, говорилъ онъ, далъ намъ двѣ книги; въ одной (въ природѣ) онъ показалъ свое величіе, въ другой (въ своихъ завѣтахъ) свою волю». Такимъ образомъ, страстное погруженіе въ глубь знанія не вызывало у Ломоносова головокруженія и не порождало въ немъ близорукаго самообольщенія, которымъ вырвалась бы бездна между естествоиспытателемъ и духовнымъ строемъ его отечества и его народа. Велика мощь науки, думалось нашему ученому, велики умственные силы человѣка, однако что же можетъ онъ отвѣтить на слово грознаго вопроса: «гдѣ былъ ты, когда Я прекрасный сей устроилъ свѣтъ?... Возмогъ ли ты хотя однажды велѣть ранѣе утру быть»?...

Законная доза натурализма и рационализма не исчезала въ Ломоносовѣ и тогда, когда онъ переводилъ свой

взоръ съ явленій природы на факты окружающаго общежитія. Ему случалось смѣло указывать на недостатки этого общежитія, на заблужденія и предразсудки своей современности. «Посты, — писалъ онъ, на примѣръ, — учреждены не для самоубивства вредными пищаами, но для воздержанія отъ излишествъ; обманщикъ, грабитель, неправосудный, мздоимецъ, воръ и другими образами ближнихъ вредитель прощенія не сыщеть, хотя бы онъ вмѣсто обыкновенной пищи семь недѣль ѣлъ щепы, кирпичъ или мочало... Посты установлены для Обѣтованной земли, у насъ же другой климатъ и инья условія, а потому говѣть нужно больше духомъ, чѣмъ брюхомъ». Исходя изъ подобныхъ отправныхъ пунктовъ, не мало «трезвомыслящихъ личностей» закабалили себя духовно поклоненію «гигіенѣ» и «естественнымъ потребностямъ человѣка», отвернувшись съ огульнымъ презрѣніемъ отъ народа, «погрязшаго въ суевѣрїяхъ и невѣжествѣ». Но Ломоносовъ избѣгъ такой опасности. Онъ относился къ свойствамъ народной жизни, не какъ знатный путешественникъ къ дикарямъ, которыхъ обычаи и нравы ему смѣшны и отвратительны, а какъ образованный членъ семьи къ менѣе просвѣщеннымъ ея членамъ. Поэтому смѣлое слово его звучало не обидой, а родственнымъ наставленіемъ. Онъ горячо возставалъ противъ недостатковъ народа, именно потому, что вѣрилъ въ его достоинства. «Русскій народъ гибокъ!» часто восклицалъ онъ, понимая однакоже эту гибкость, совсѣмъ не въ томъ смыслѣ, въ какомъ понимали и испытывали ее многіе другіе.

Вообще должно сказать, что ученое «предложеніе» Ломоносова вполне соответствовало тому «спросу», который таился въ духовной почвѣ его отечества. Эта солидарность чувствуется ясно. Ею объясняется, напр., совпаденіе заботъ и стремленій петербургскаго академика съ надеждами и мечтами скромнаго, но благороднаго мыслителя въ глуши далекой харьковской украины. Мы говоримъ о современникѣ Ломоносова, Григоріѣ

Саввичъ Сковородѣ, въ писаніяхъ котораго читаемъ: «Въ Руси многіе хотятъ быть Платонами, Аристотелями, Зенонами, Эпикурами, а о томъ не размышляютъ, что Академія, Лицей и Портикъ произошли изъ науки Сократовой, какъ изъ яичнаго желтка цыпленокъ вывертывается. Пока не будемъ имѣть своего Сократа, дотолѣ не быть своему Платону, ни другому философу. Отче нашъ, иже еси на небесѣхъ! Скоро ли ниспослешь намъ Сократа, который бы научилъ насъ наипервѣ познанію себя, а когда мы себя познаемъ, тогда мы сами изъ себя выведемъ науку, которая будетъ наша, своя, природная». Такъ мечталъ почтенный Сковорода, рассуждая, что «знаніе не должно узить своего изліянія на однихъ жрецовъ науки, которые жрутъ и пресыщаются, но должно переходить на весь народъ, войти въ народъ, и водвориться въ сердца и въ души всѣхъ тѣхъ, кои имѣютъ правду сказать: и я человекъ, и мнѣ, что человѣческое, то не чуждо»!..

Мы не станемъ продолжать дальше перечень общеизвѣстныхъ заслугъ Ломоносова, знаменитаго русскаго ученаго, насадителя просвѣщенія, борца съ невѣжествомъ, мѣшающимъ развернуться силѣ русскаго творчества и богатству русскаго сердца. Ломоносовъ былъ и остается, для позднѣйшей нашей науки, родоначальникомъ ея успѣховъ и живымъ укоромъ ея заблужденій.

II.

Отдавая должную дань почтенія дѣятелямъ первой эпохи нашего научнаго просвѣщенія, высоко цѣня ихъ ученую энергію и продуктивность, мы не можемъ закрывать глаза на другую сторону дѣла. Вглядываясь пристально въ интимную жизнь кружка мужей науки, разсматривая ихъ поведеніе и взаимныя отношенія, какъ членовъ общества, мы поражаемся печальнымъ зрѣлищемъ. Казалось бы что группа представителей образованія

должна была давать своей современности живой примѣръ разумной, солидарной и благородной жизни. Казалось бы, что именно тутъ естественно было бы искать нравственныхъ уроковъ касательно уваженія человѣческой личности, искренняго сочувствія ближнимъ и возвышенной терпимости къ чужому мнѣнiю. На самомъ же дѣлѣ было далеко не такъ. Жизнь нашихъ ученыхъ проходила въ чадѣ взаимнаго разлада, неопытнаго соперничества, ненасытной зависти, раздутаго эгоизма и совсѣмъ большаго тщесавiя. Эта жизнь,—приходится прямо сказать,—представляла собою весьма прискорбное болото, въ которомъ копошилась всякаго рода моральная нечисть. Въмѣсто дружной работы вокругъ священнаго знамени науки, ученые шли въ рознь, ревниво слѣдя другъ за другомъ, чтобы не упустить желаннаго момента повредить одинъ другому. Если они и собирались въ партiи, то только съ военными цѣлями взаимнаго истребленiя. Неугасимая злоба тутъ змѣилась скрытымъ подвохомъ, мелкой клеветой, доносомъ, или вспыхивала пожаромъ крупнаго скандала.

Прочитывая историческiе анналы, гдѣ все это сохраниено для памяти потомства, мы не можемъ побороть въ себѣ горькаго чувства. То наталкиваемся мы на уличенiе одного ученаго другимъ съ покровительствѣ студенту, съ желанiемъ выдать за него сестру, «дѣвку дурную, старую и безприданную», то ударяетъ насъ до боли «товарищеское» заявленiе о другомъ мужѣ науки, который «занялъ въ казенномъ домѣ лучшiе покои, на кошѣ академическiй великолѣпно украшенные». Ученыя собранiя академикомъ иногда прерывались драками, съ азартнымъ размахиванiемъ палками, съ разбитiемъ зеркалъ, съ плевками и безудержною бранью. Выходъ новаго сочиненiя не былъ общимъ праздникомъ для всей ученой корпорацiи, а только новой заботой отыскивать въ товарищескомъ произведенiи изъяны, съ цѣлью уронить репутацiю автора и повредить ему въ глазахъ началь-

ства. Всякое чисто научное предпріятіе въ родѣ, напр., астрономическаго наблюденія прохожденія Венеры черезъ солнце, становилось немедленно предлогомъ для всевозможныхъ распрей и кляузъ; подь напоромъ страстей, разверзались клоаки, изъ которыхъ лилась обильная струя взаимныхъ придирокъ, уличеній въ невѣжество, и пр. Непокойна была атмосфера этой жизни. Здѣсь чувствуется постоянно глухое недовольство, зудъ обиды и хроническое раздраженіе.

Тяжелое впечатлѣніе начерченной картины еще болѣе увеличивается тѣмъ, что въ ней, едва-ли не на первомъ мѣстѣ, мы видимъ фигуру Ломоносова. Талантливый ученый, ревнитель умственнаго просвѣщенія, горячій патриотъ, въ житейскихъ отношеніяхъ не держался на должной моральной высотѣ, не проявлялъ въ своемъ характерѣ надлежащаго благородства, свойственнаго аристократу, какимъ онъ былъ, если понимать слово аристократія въ истинномъ смыслѣ, т. е. въ смыслѣ «лучшихъ людей» страны, соли земли, представителей народнаго таланта. Что-то мutilо духъ Ломоносова, раздувало его страсти, вносило хаосъ въ его поступки и придавало его дѣятельности неприглядную окраску. Мы не будемъ останавливаться на первой порѣ его академической жизни по возвращеніи изъ за границы, на его гомерическихъ подвигахъ, въ родѣ избіенія академическаго садовника Штурма и выбрасыванія изъ оконъ жены этого нѣмца съ десяткомъ гостей. Но мы не можемъ не замѣтить, что въ подобныхъ подвигахъ заключалось нѣчто загадочное; въ нихъ какъ-будто мелькаетъ передъ нами мечущаяся изъ стороны въ сторону, безъ пристанища, сила, или вращается на воздухѣ, безцѣльно и не пріятно, туго натянутая пружина, которую забыли вставить въ механизмъ.

Предосудительные факты идутъ въ біографіи Ломоносова непрерывнымъ рядомъ. Онъ безпрестанно буянить съ членами академіи; на придирки и кляузы про-

тивниковъ онъ воздаеть сторицею, переходя нерѣдко всякіе предѣлы возможной дерзости. Онъ входитъ въ академическія собранія съ шапкой на головѣ, бранить академикомъ и дѣлаеть имъ руками «самымъ безстыднымъ образомъ безчестный и крайне поносный знакъ». Позванный судною комиссіей на допросъ, онъ смѣется и издѣвается, грубо кричитъ и отказывается отвѣчать, ссылаясь на свою неподсудность. Посаженный подъ арестъ, онъ безтактно и съ щегольствомъ дурнаго тона своею причастностью къ наукѣ требуетъ выдачи жалованья, доставленія микроскоповъ и освобожденія изъ-подъ ареста на томъ основаніи, что «не только искренняя его ревность къ наукамъ въ упадокъ приходитъ, но и время напрасно тратится, въ которое онъ могъ бы другихъ ученіемъ пользоваться». Уже давно выйдя изъ юношески-пылкаго возраста, тридцатилѣтній академикъ избиваетъ шандаломъ переводчика Голубцова, «отчего воспослѣдовалъ у Голубцова въ глазу ломъ, а отъ удару язва».

Позднѣе, правда, такія героическія дѣянія прекращаются, но основной тонъ житейскихъ отношеній остается тотъ же. Ломоносовъ придавалъ большое значеніе чиновничьему «мѣстничеству» и защищалъ свои права въ этомъ отношеніи указаніями на то, что онъ имѣеть «отличную науку». Однажды, въ списокѣ профессоромъ онъ зачеркнулъ свое имя и написалъ его выше всѣхъ, требуя, чтобы архиваріусъ переписалъ протоколъ въ такомъ видѣ; въ отвѣтъ на отказъ архиваріуса, онъ разорвалъ бумаги. Послѣ долгихъ лѣтъ борьбы съ самовластіемъ академической канцеляріи, Ломоносовъ самъ сдѣлался ея членомъ и сразу далъ волю своему произволу; онъ требовалъ безусловной покорности отъ академикомъ, дѣлалъ имъ замѣчанія и выговоры, отдавалъ имъ приказы, предписывалъ профессору химіи заниматься только тѣмъ, «отъ чего польза имперіи». Онъ вступалъ съ своими учениками-коллегами въ запальчивые споры и не

скупился при этомъ на рѣзкости и грубости. Онъ оскорблялъ историка Миллера, доносилъ по личной враждѣ сенату на Шлецера, хлопоча, чтобы скорѣе былъ выданъ послѣднему паспортъ и абшидъ, и чтобы строптивый нѣмецъ «убирался за границу на всѣ четыре стороны». Предъявляя требованія благихъ реформъ или дѣлая справедливыя указанія на злоупотребленія, онъ дѣйствовалъ не съ благородной дѣловитостью, а со скандаломъ, съ буйнымъ своевольствомъ или съ капризнымъ раздраженіемъ.

И все это приходится говорить о патріархѣ русской науки, о человѣкѣ, свѣтлый умъ котораго умѣлъ вырывать тайны у природы и былъ способенъ понимать жизненный смыслъ и нужды, достоинства и недостатки своего отечества!

Но мы не будемъ спѣшить съ обвинительнымъ приговоромъ. Нѣтъ дѣйствія безъ причины. Видя отсутствіе нравственнаго благообразія въ жизни представителей знанія, слыша несущіеся отсюда, сварливые, рѣзкіе крики, на которые способенъ лишь человѣкъ, приведенный въ отчаяніе, замѣчая беспорядочное смущеніе въ средѣ людей, окружающихъ знамя науки, не слѣдуетъ успокаивать себя презрительнымъ жестомъ и огульнымъ словомъ осужденія. Гораздо справедливѣе съ исторической точки зрѣнія и гораздо полезнѣе для современности замѣнить категорическіе приговоры посильнымъ размышленіемъ надъ фактомъ.

III.

Послѣ того, какъ было прорублено у насъ знаменитое окно, высшій слой населенія Россіи жадно прильнулъ къ нему и пришелъ въ восхищеніе предъ роскошью открывшейся картины. Сильный пульсъ европейскаго обществія, великолѣпіе дворовъ, изящество и веселье салоновъ, высокій уровень промышленности, ремеслъ и

художествъ, совершенство армій и флотовъ,—все это поразило нашъ высшій классъ до ослѣпленія. Постоянной темой разговоровъ русскихъ интеллигентныхъ людей стало горячее восхваленіе культуры Европы, ея богатства, ея образа жизни, а вмѣстѣ съ тѣмъ и презрительное сокрушеніе о русской отсталости во всѣхъ отношеніяхъ. Переходя отъ слова и чувства къ дѣлу, всѣ устремились на путь заимствованій и подражанія. Всѣмъ было лестно сбросить съ себя поскорѣе неуклюжія восточныя ферязи и переодѣться европейцемъ. Но между богатствами Запада не послѣднее мѣсто занималъ огромный, накопленный капиталъ знаній; между прекрасными зданіями, которыя виднѣлись въ прорубленное окно, торжественно высился великолѣпный храмъ науки, наполненный жрецами и окруженный ореоломъ всеобщаго почтенія. Русскіе зрители не замедлили присоединиться къ этому почтенію. Европейскій ученый сталъ для насъ предметомъ смиреннаго поклоненія и самой предупредительной деликатности. Началось трогательное ухаживаніе за европейскими знаменитостями.

Вольтеру была заказана исторія Петра Великаго, причемъ не щадили никакихъ издержекъ, посылались впередъ отъ Елизаветы Петровны дорогіе подарки, собраніе изображеній русскихъ людей, выбитыхъ на золотѣ, множество отборныхъ соболей, черныхъ и голубыхъ лисицъ и пр. Почтеніе къ фернейскому мудрецу не уменьшилось, когда заказанная исторія оказалась пустой и легкомысленной книжкой. То же самое мы видимъ и въ отношеніяхъ къ другимъ ученымъ и литературнымъ извѣстностямъ Запада. Узнавъ о затруднительномъ финансовомъ положеніи Дидро, Екатерина II, съ деликатной щедростью, купила у него бібліотеку и оставила ее при немъ въ Парижѣ, приказавъ выдавать ему пожизненно жалованье въ качествѣ бібліотекаря російской императрицы. Екатерина же писала Даламберу, котораго приглашала воспитателемъ къ Павлу Петровичу: «У васъ

во Франціи, должно быть, большое количество великихъ людей, если ваше правительство не считаетъ себя обязаннымъ покровительствовать имъ... Государи обязаны поощрять таланты, иначе заподозрять, что у нихъ самихъ нѣтъ талантовъ». Вслѣдъ за такимъ высокимъ свидѣтельствомъ почтенія передъ наукой, шло почтеніе толпы людей высшаго класса. Не имѣя возможности выписывать Даламберовъ, тѣмъ не менѣе, всѣ старались запасть для своихъ дѣтей иностранными учителями. Всѣ говорили о необходимости образованія, и въ русскихъ семействахъ появилась цѣлая армія Карловъ Карловичей и «французовъ изъ Бордо». Между знатью выдвинулся рядъ покровителей наукъ и искусствъ, російскихъ меценатовъ. Такимъ образомъ, въ нашемъ обществѣ существовали на лицо всѣ признаки уваженія къ знанію, къ наукѣ и къ ученымъ. Но не было ли подъ этой внѣшней видимостью чего-нибудь обманчиваго?

Всматриваясь ближе въ существо дѣла, мы замѣчаемъ, что уваженіе къ наукѣ, въ большинствѣ случаевъ, имѣло здѣсь условное значеніе. Наука цѣнилась, какъ аристократическій французскій языкъ, какъ изящныя манеры парижскихъ салоновъ, словомъ, какъ одно изъ украшеній роскошнаго Запада. Часто отдѣлка платья, сама по себѣ, не имѣетъ въ нашихъ глазахъ особенной цѣны, но она пріобрѣтаетъ большое значеніе, когда мы видимъ ее на импонирующемъ костюмѣ законодательницы модъ. Такъ точно было и здѣсь. Едва ли есть возможность утверждать, что большинству нашихъ меценатовъ и поклонниковъ западныхъ талантовъ понятно было самоцѣнное значеніе науки, удовлетворяющей совершенно самостоятельной и чрезвычайно важной человѣческой потребности, потребности въ знаніи. Съ большей смѣлостью можно сказать, что роль науки понималась у насъ только въ утилитарномъ смыслѣ, и что наукѣ приходилось спускаться до значенія ремесла и оправдывать свое существованіе, выдвигая на первый планъ свои послуги

разнымъ жизненнымъ нуждамъ, тогда какъ, въ сущности, практическія пользы составляютъ только второстепенный результатъ, падающій крохи отъ самостоятельной ученой работы.

На ряду съ фактами, какъ будто говорящими объ искреннемъ стремленіи нашего высшаго класса къ образованію, существуетъ много противоположныхъ обличительныхъ свидѣтельствъ. Вотъ на примѣръ, показаніе извѣстнаго Сумарокова: «Много знать значитъ у насъ знать по-педаггически; мало знать значитъ знать по-кавалерски. А имя кавалера обыкновенно дается дворянамъ; итакъ, знать по-кавалерски, есть знать по дворянски, знать столько, сколько благородному человѣку пристойно, т. е. мало и неосновательно, чтобы умѣть начинать говорить о всемъ и не умѣть окончить ни о чемъ, скакать изъ матеріи въ матерію, показываясь, будто все знаешь, хотя этому кромѣ такихъ же невѣждъ никто не повѣритъ, доказывать не по-педаггически доводами, но по-дворянски крикомъ, изо всей мочи хохотать, и потомъ, ежели самымъ лучшимъ и благороднѣйшимъ образомъ рѣчь окончить, т. е. по-петиметрски, такъ надлежитъ запѣть французскую пѣсню».

Держась самымъ строгимъ образомъ предѣловъ справедливости, приходится сознаться, что наука не задѣвала за живое ни ума, ни сердца нашего общества, занятаго другими силами, казавшимися ему болѣе реальными, какковы богатство и знатность, чувственныя наслажденія и чиновничья выслуга, фортуна, карьера и «случай». До насъ дошло много мемуаровъ, гдѣ поденныя записи даютъ намъ отвѣтъ на вопросъ о томъ, что волновало души нашихъ предковъ, что было тогда въ спросѣ и въ почетѣ. Обращаясь къ одному изъ такихъ мемуаровъ, къ запискамъ Порошина, воспитателя малолѣтняго Павла Петровича, мы находимъ цѣлую книгу о ежедневныхъ фактахъ и разговорахъ, происходившихъ при маленькомъ дворѣ, гдѣ группировалось множество лицъ интеллигент-

наго и высшего общества. Тутъ передъ нами длинный рядъ всевозможныхъ темъ застольныхъ и иныхъ бесѣдъ и споровъ,—объ историческихъ событіяхъ былой старины и о текущихъ злобахъ дня, о французской комедіи, оперѣ и балетѣ, о пожалованіяхъ и немилостяхъ, о полкахъ и флотѣ, объ иностранныхъ дипломатахъ, о великанѣ Жолли трехъ аршинъ и пяти вершковъ, о куртагахъ каруселяхъ, маскарадахъ, кавалерахъ и фрейлинахъ. Но, намъ интересно найти что-нибудь о наукѣ и объ учебныхъ; мы терпѣливо перевертываемъ страницу за страницей и, наконецъ, находимъ кое-гдѣ искомое. «Обѣдалъ у насъ»,—пишетъ Порошинъ,—«А. П. Сумароковъ. Его высочество весьма забавлялся, какъ онъ описаніе дѣлалъ о г. Еминѣ и его съ нимъ спорѣ». Въ другомъ мѣстѣ читаемъ: однажды Порошинъ произнесъ цитату изъ Ломоносова, на что Павелъ Петровнчъ замѣтилъ: «это, конечно, уже изъ сочиненіевъ дурака Ломоносова». Въ третьемъ мѣстѣ встрѣчаемъ извѣстіе о смерти Ломоносова, по поводу которой его высочество сказала: «что о дуракѣ жалѣть, казну только разорялъ и ничего не сдѣлалъ». Разумѣется, десятилѣтній Павелъ Петровнчъ, въ своихъ замѣчаніяхъ, повторялъ лишь существовавшія вокругъ мнѣнія, но именно поэтому фактъ является весьма характеристичнымъ. Мы можемъ вдоволь размышлять о ломоносовскомъ «разореніи казны»,—въ эпоху внезапнаго возникновенія колоссальныхъ богатствъ. Мы можемъ вдоволь ломать себѣ голову надъ вопросомъ, какимъ образомъ «ничего не сдѣлалъ» человекъ, положившій начало русской науки и новой русской литературы? Надо думать, что многимъ тогда и то и другое казалось ничего не стоящимъ дѣломъ.

Намъ могутъ возразить, что, какъ бы то ни было, но совершались же мѣропріятія относительно водворенія въ Россіи просвѣщенія, устроенія академій; писались же соотвѣтственные проекты, расходовались суммы и т. д. На это должно замѣтить, что покровительство академій

и просвѣщенію часто имѣло совершенно посторонній источникъ и какъ бы символическое значеніе; это наглядное покровительство было чѣмъ-то въ родѣ политическаго лозунга слѣдованія системѣ Петра Великаго. Во всякомъ же случаѣ, названныя мѣропріятія не имѣли должной интенсивности и неуклонности. Извѣстно, что Ломоносову приходилось цѣлыхъ восемь лѣтъ доказывать столь простую истину, какъ необходимость лабораторіи для химіи. Извѣстно, что назначеніе въ академики часто обуславливалось случайностями; вельможи сбывали сюда, за ненадобностью, секретарей и учителей своихъ дѣтей. Леруа, учитель въ семьѣ герцога Курляндскаго на жалованьи въ 300 р., былъ назначенъ академикомъ съ 660 р. содержанія; учитель въ домѣ графа Остермана перемѣщенъ въ профессора Академіи на 500 р. жалованья... Въ отношеніяхъ властей къ академіи мы тщетно искали бы той изящной деликатности, какая проявлялась въ сношеніяхъ съ Вольтеромъ или Даламберомъ. Какъ-то разъ академія въ своихъ извѣстіяхъ выразилась кратко: «камеръ-пажъ Иванъ Шуваловъ пожалованъ въ камеръ-юнкеры». За этотъ лаконизмъ послѣдовалъ строжайшій окрикъ со стороны президента, который писалъ, что ему «безпримѣрно удивительно, какъ мало подчиненные смотрятъ на свою должность и отправляютъ дѣла свои съ крайнимъ нерадѣніемъ и неосторожностью». Послѣ искренняго недоумѣнія почтенныхъ ученыхъ мужей оказалось, что они должны были приведенное выше извѣстіе редактировать слѣдующимъ образомъ: «императрица пожаловать изволила камеръ-пажа своего Ивана Ивановича господина Шувалова двора своего камеръ-юнкеромъ».

Вообще, исторія академіи свидѣтельствуетъ, что жизнь ученаго учрежденія, разсадника русской науки, была открыта всѣмъ четыремъ вѣтрамъ. Если президентъ былъ сильнымъ человѣкомъ, то ни сенатъ, ни коллегія не рѣшались придирается къ ученому учрежденію, когда же первое условіе отсутствовало, то подъячіе наперерывъ слѣ-

шили показать академіи свою силу и свое понятіе о наукахъ. Такимъ образомъ, ученый челнъ русской науки безпомощно носился по широкому морю общественнаго равнодушія. Мало кто интересовался тѣмъ, что дѣлается въ стѣнахъ ученыхъ пріютовъ; нерасходившіеся труды академиковъ загромождали книжные склады. Кто-то предложилъ однажды проектъ—просить сенатъ разрѣшить обязательную продажу русскихъ книгъ по всему государству, не только въ коллегіяхъ, канцеляріяхъ и прочихъ присутственныхъ мѣстахъ, но и служащимъ въ гражданской и въ военной службѣ, которые бы обязывались покупать въ академіи книгъ на 5—6 рублей съ каждой получаемой сотни рублей жалованья; купцы также должны были участвовать въ насильственной покупкѣ, «по пропорціи своего торгу». Этотъ дикій проектъ весьма знаменателенъ, такъ какъ онъ могъ родиться только въ потугахъ безсильной борьбы науки съ общественнымъ равнодушіемъ.

IV.

Если мы примемъ въ соображеніе сказанное, т. е. непониманіе въ нашемъ «интеллигентномъ классѣ» истиннаго значенія науки и непробудное равнодушіе этого класса къ знанію, то намъ станетъ ясно, къ чему сводилось отношеніе общества къ ученымъ. Уставъ академіи отдавалъ ее на полный произволъ президента. «Новое изобрѣтеніе,—гласила одна статья устава,—имѣющее быть напечатаннымъ въ комментаріи академическомъ, не должно быть внесено въ оный безъ позволенія президента, ибо собою академикъ, тѣмъ менѣе адъюнктъ ничего опредѣлить не могутъ». Слѣдовательно, представители науки, несмотря на всѣ ихъ знанія, поступали въ опеку президента, иногда двадцатидвухлѣтняго юноши. Въ отсутствіе президента опека переходила къ академической канцеляріи, состоявшей изъ чиновниковъ,

которые должны были, по словамъ устава, «быть по нѣскольку искусны въ наукахъ». Легко представить себѣ горькую чашу бѣдъ, огорченій и преслѣдованій, какую подносили ученымъ мужамъ эти «нѣсколько искусные» чиновники! Что могли значить для сихъ послѣднихъ ученныя дарованія и заслуги, условія умственного труда, страданія и радости научнаго и литературнаго творчества? Ихъ отношеніе къ Гекубѣ было то же, что и Гекубы къ нимъ. Миллеръ и Гмелинъ составляли истинное украшеніе академіи, и именно имъ приходилось особенно часто испытывать удары судьбы. Съ академической канцеляріей соперничали на томъ же полѣ и другія канцеляріи. Сенатъ смотрѣлъ на знаменитыхъ носителей просвѣщенія сверху внизъ; онъ снисходилъ къ ихъ слабостямъ, прощаль или наказываль, дѣлаль вычеты изъ нищенскаго ихъ жалованья и пр.

Смиренные почитатели Вольтеровъ были гораздо смѣлѣе дома. Извѣстно, что Артемій Волинскій однажды жестоко избилъ Третьяковскаго. Немногимъ менѣе пострадалъ несчастный версификаторъ, по подозрѣнію въ написаніи подметнаго письма, и отъ Теплова. «Тепловъ, — рассказываетъ Третьяковскій, призваннаго меня въ домъ графскаго сіятельства (Разумовскаго), не обличивъ и не доказавъ ничѣмъ, ругаль, какъ хотѣлъ м... и грозилъ шпагою заколоть. Когда я, на другой день принесъ письменную жалобу его сіятельству, то одинъ изъ лакеевъ, увидѣвъ меня въ прихожей, сказалъ мнѣ, что меня пускать въ камеры не велѣно. А понеже я съ природы не имѣю нахальства, то услышавъ такое запрещеніе отъ лакея, тотчасъ вонъ побѣжалъ, чтобъ скорѣе уйти домой и съ собою унести свой стыдъ». Конечно, Третьяковскаго нельзя ставить на ряду съ Вольтеромъ, однакоже и онъ не прошелъ безслѣдно въ исторіи науки, и польза, имъ принесенная отечеству, во всякомъ случаѣ, гораздо больше пользы, оказанной Волинскимъ и ему подобными. Къ тому же, упомянутые побои и брань были не своеобраз-

ной критикой плохихъ стиховъ знаменитаго пѣты, а лишь свидѣтельствомъ презрѣнія сильныхъ міра къ столь ничтожному званію, какъ званіе члена російской академіи. Съ такой размашистостью поклонниковъ Дидерота приходится встрѣчаться на каждомъ шагу. Даламбера тщетно упрашивали заняться воспитаніемъ Павла Петровича, а русскій наставникъ великаго князя, высокочестный и благородный Порошинъ, былъ безцеремонно прогнанъ прочь, надо думать, за одно лишь то, что позволилъ себѣ мечтать о бракѣ съ фрейлиной Шереметьевой. Эта мечта высокообразованнаго молодаго человѣка о женитьбѣ на боярышнѣ—конечно, малограмотной,—признана была непозволительною дерзостью.

Правда, у насъ бывали покровители наукъ, бывали меценаты, которые «держали въ милости своихъ ученыхъ». Среди превратностей судьбы, среди гоненій и обидъ, иногда на долю тружениковъ науки выпадалъ лучъ свѣта и тепла. Такъ, напримѣръ, Ломоносовъ удостоился однажды посѣщенія Екатерины II. Императрица ласково разговаривала съ нимъ и приглашала къ себѣ обѣдать, увѣряя, что «у нея ии будутъ такіа же горячіа, какъ и тѣ, что подаетъ ему его хозяйка». Хотя, быть можетъ, формула приглашенія была не вполнѣ удачна, напоминая болѣе обращеніе къ какому-нибудь доброму мужичку, чѣмъ къ свѣтилу просвѣщенія своей эпохи, тѣмъ не менѣе, теплое слово согрѣло старика Ломоносова. Не отрицая, такимъ образомъ, существованіе у насъ покровителей наукъ и меценатовъ, необходимо, однакоже, пристально взглянуть въ свойства, которыя весьма часто проявлялись въ этомъ покровительствѣ.

Въ концѣ царствованія Елизаветы Петровны, между старымъ дворомъ, группировавшимся вокругъ Шуваловыхъ, и молодымъ дворомъ великой княгини Еватерины, опиравшимся на Разумовскихъ, существовалъ антагонизмъ. Обѣ партіи имѣли своихъ ученыхъ и поэтовъ, во главѣ которыхъ стояли Ломоносовъ и Сумароковъ.

Ведя между собою скрытую борьбу, вельможи натравляли и своих ученых другъ на друга. Такія литературныя ссоры и перепалки служили, вмѣстѣ съ тѣмъ, для знати пріятнымъ развлеченіемъ. Вотъ разсказъ объ этомъ въ воспоминаніяхъ Ив. Шувалова: «Въ спорахъ чѣмъ больше Сумароковъ злился, тѣмъ больше Ломоносовъ язвиль его, и если оба не совсѣмъ были трезвы, то оканчивали ссору бранью, такъ что я высылалъ или обоихъ, или чаще Сумарокова. Если же Ломоносовъ занесется въ своихъ жалобахъ, то я посылаю за Сумароковымъ, а съ тѣмъ, ожидая, заведу рѣчь о немъ. Сумароковъ, услышавъ у дверей, что Ломоносовъ здѣсь, или уходилъ, или, подслушавъ, вбѣгалъ съ крикомъ: не вѣрьте ему, ваше превосходительство, онъ все лжетъ; удивляюсь, какъ вы даете у себя мѣсто такому пьяницѣ, негодю.—Самъ ты подлець, пьяница, неучъ,—возражаетъ Ломоносовъ... Но иногда мнѣ удавалось примирять, и тогда оба были очень пріятны»... Такимъ-то образомъ люди, представлявшіе собою умственный свѣтъ страны, сводились къ роли забавниковъ при барскомъ домѣ. Едва-ли нужно объяснять всю бездну безсознательнаго высокомерія и столь-же безсознательнаго цинизма, которые проникаютъ весь приведенный разсказъ. Извѣстный «покровитель просвѣщенія» обнаруживаетъ здѣсь спокойную увѣренность въ своей высотѣ, безмѣрно далекой отъ уровня столповъ знанія, которые искренно казались ему мелкими челядинцами, потому что онъ прилагалъ къ нимъ свое мѣрило, мѣрило «случайнаго» человѣка. Исходя изъ фактовъ, подобныхъ приведенному, нельзя не отнестись съ довѣріемъ къ сѣтованію Ломоносова о томъ, что «персоны высокородныя любили попрекать его низкою породою»...

Сказаннаго объ отношеніи нашего «образованнаго» общества къ ученымъ вполне достаточно, чтобы понять положеніе и жизненныя условія представителей науки. Это положеніе было истиннымъ скорбнымъ путемъ. Это была жизнь людей, дѣлавшихъ трудное, но почти никому

не нужное дѣло, говорившихъ языкомъ, котораго никто не желалъ искренно понять. Эта жизнь была хожденіемъ по канату, причемъ ни заслуги, ни дарованія, ничто не давало твердой точки опоры, а все висѣло на волоскѣ, все зависѣло отъ дуновенія случайностей, отъ удачъ эквилиброванія между дѣйствительными силами, которыя общество понимало, цѣнило и терпѣло.

Несмотря на тяжесть окружавшей атмосферы, люди науки не сразу и не всегда теряли сознание важности своего дѣла и чувство собственного достоинства. Ломоносовъ не былъ неправъ, говоря, что «ученые пріобькли быть всегда при наукахъ и, не привыкнувъ разносить по домамъ поклоновъ, не могутъ сыскать себѣ защищенія». Шлецеръ объ историкѣ Миллерѣ пишетъ слѣдующее: «Въ образѣ мыслей его было какое-то величіе, благородство, справедливость. Горой стоялъ онъ за честь Россіи, несмотря на то, что его держали въ черномъ тѣлѣ. Достоинства Миллера, не были, какъ должно, оцѣнены, потому что онъ не могъ пресмыкаться». Между письмами Ломоносова есть одно, которое нельзя пройти молчаніемъ. «Никто въ жизни,—пишетъ онъ къ своему «покровителю», Ив. Шувалову,—меня больше не избидѣлъ, какъ ваше высокопревосходительство. Призвали вы меня сегодня къ себѣ. Я думалъ, можетъ быть, какое-нибудь обрадованіе будетъ по моимъ справедливымъ прошеніямъ. Вдругъ слышу: помирись съ Сумароковымъ! т. е. сдѣлай смѣхъ и позоръ!... Не хотя васъ оскорбить отказомъ при многихъ кавалерахъ, показалъ я вамъ послушаніе, только, увѣряю васъ, послѣдній разъ. Ваше высокопревосходительство, имѣя нынѣ случай служить отечеству спомоществованіемъ въ наукахъ, можете лучшія дѣла производить, нежели меня мирить съ Сумароковымъ... Не токмо у стола знатныхъ господъ, или у какихъ земныхъ владѣтелей дуракомъ быть не хочу, но ниже у самого Господа Бога, который далъ мнѣ смыслъ, пока развѣ отниметь».

Эта благородная рѣчь не нуждается въ комментаріяхъ. Но нужно сознаться, что всѣ подобныя вспышки собственнаго достоинства были именно только вспышками. Мы не будемъ осуждать за то ученыхъ. Жизнь есть жизнь. Можно показать себя героемъ разъ и два, сегодня и завтра, но героизмъ на протяженіи цѣлой жизни едва-ли по силамъ человѣку. Въ мѣстностяхъ, гдѣ изрѣдка налетаютъ бури, деревья стоятъ твердо и высятся стройно въ небо, но тамъ, гдѣ дуетъ постоянный холодный вѣтеръ, стволы теряютъ вершины и вырождаются въ ползучую, «карликовую» поросль.

Понимая все это, мы съ грустьюзираемъ на борьбу за существованіе въ жизни академиковъ. Мы видимъ ихъ низкопоклонство, выпрашиваніе милостей и служебныхъ поощреній, ревнивую взаимную вражду и зависть, мы видимъ ихъ самоуниженіе, на ряду съ безтактнымъ самохвальствомъ, въ уродливой формѣ котораго прорывалось угнетенное, до степени отчаянія, чувство собственнаго достоинства. Мы читаемъ прошеніе Третьяковского къ К. Разумовскому, гдѣ академикъ, задумавъ печатать сочиненіе «О россійской ортографіи», спѣшитъ съ увѣреніями, «подъ лишеніемъ чести и живота, что въ сей его книжкѣ нѣтъ никакихъ противностей православной вѣрѣ, самодержицѣ, отечеству, добронравію, также нѣтъ въ ней никакихъ обидныхъ словъ и изображеній ни тайныхъ, ни явныхъ никому». Почтенный Ломоносовъ плетется по стопамъ Третьяковского и разсыпаетъ свой талантъ въ торжественныхъ одахъ. Правда, любимымъ лицомъ его вѣсноплѣній былъ Петръ Великій, который, «царствуя, служилъ, свои законы самъ примѣромъ утвердилъ, монаршу власть скрывалъ (въ Голландіи) чтобъ намъ открыть науки». Но, къ сожалѣнію, ломоносовская лира издавала часто гораздо менѣе высокіе аккорды. Въ сильный стиль ломоносовской рѣчи, напри- мѣръ, при посвященіи сочиненій разнымъ лицамъ, вноси- лась порча «рабымъ языкомъ». Въ посвященіи книги

графу Воронцову академикъ пишетъ: «Уже знатныхъ военныхъ, статскихъ и придворныхъ особъ бесѣды рѣдко проходятъ, чтобы притомъ о наукахъ разсужденія съ похвалою не было. Въ наукахъ трудъ свой полагающіе получаютъ у вашего сіятельства надежное прибѣжище и великодушное покровительство. На сіе упоая, приношу» и пр. Нѣтъ ничего печальнѣе литературы подобныхъ «приношеній». Въ нихъ таится безпощадное оскорбленіе науки и явный уронъ просвѣщенію. Въ нихъ плоды думъ и таланта кладутся у подножія равнодушныхъ кумировъ, и высокая умственная сила становится добровольно за колесницей различныхъ триумфирующихъ въ обществѣ силъ. Цвѣты поэзіи въ атмосферѣ просительныхъ посвященій вянутъ, а величественные порывы мысли падаютъ въ прахъ. Здѣсь благородный левъ выступаетъ въ низкой позѣ виляющей хвостомъ собаки.

Но тогдашняя жизнь налагала на ученыхъ мужей свою руку, и съ нею имъ приходилось считаться. Какъ бы ни глубоко погружались они въ свое дѣло, но имъ нельзя было совершенно изолироваться отъ окружающаго, а это окружающее имѣло свои твердые вкусы и взгляды, которые и внушало всѣмъ сурово-ощутительными уроками. Такъ, окружающая жизнь, напримѣръ, строго отдѣляла бѣдность отъ богатства, считая первую «хуже порока», и вознося второе превыше добродѣтели. И вотъ мы видимъ, что ученые, подъ напоромъ этого взгляда, жмутся въ нищетѣ своего угла и, устами Ломоносова, стараются поставить на видъ, что въ западной Европѣ «Ньютонъ былъ богатымъ лордомъ, а Вольфъ приобрѣлъ лекціями и подарками болѣе пятисотъ тысячъ и, сверхъ того, баронство»... То же самое должно сказать о чинаманіи представителей науки. Конечно, тога ученаго—одѣяніе весьма почтеннаго свойства. Но какъ же быть, когда данное общество понимаетъ только шитье мундира и выпушки военной формы, плащъ же мудреца вызываетъ въ немъ лишь смѣхъ и презрѣніе? Само собою

разумѣется, что ученый, тѣмъ не менѣе, можетъ носить самоотверженно свою тогу, но если мы рѣшимъ судить «по человѣчеству», то не отнесемъ слишкомъ строго къ «тщеславію» Ломоносова, къ его домогательству совѣтничьяго чина. Мы поймемъ, что въ этомъ стремленіи къ чинамъ выступало естественное желаніе занять подобающее мѣсто въ обществѣ, хотя бы спускаясь до критеріевъ и понятій этого темнаго царства. Намъ также не будетъ странно, на примѣръ, требованіе Ломоносова, въ проектѣ университетскаго устава, чтобы студенты послѣдняго курса числились «въ рангѣ армейскаго прапорщика». Мы поймемъ, что здѣсь передъ нами попытки перевести значеніе образованнаго человѣка на языкъ, единственно понятный обществу.

Debreceni Egyetemi Könyvtár
Átengedett füzetszáma

EKD - 1940-4326 - GYSZ

6 B336

DK 32
.115

IArosh
Kharaktery
bylogo vremeni

DK 32
.115

IArosh
Kharaktery
bylogo vremeni

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

DK32.I15 c.1

Kharaktery bylogo vremeni Protopop A



091 230 347

UNIVERSITY OF CHICAGO